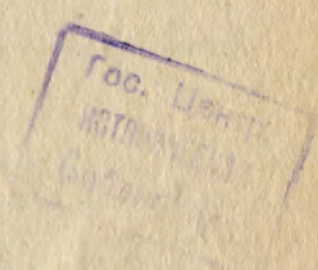


РУССКАЯ МЫСЛЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ



КНИГА XII

МОСКВА И ПЕТРОГРАДЪ

1915

Искусство нашихъ дней.

1. Думая объ искусствѣ нашихъ дней, я разумѣю не то, что въ модѣ сегодня или было моднымъ вчера. Наши дни имѣютъ для меня длительность большую, чѣмъ длительность этого сезона. Новыя направленія въ искусствѣ могутъ возникать очень часто, но существенно-новое является міру очень рѣдко. И лицо, и душа міра измѣняются очень медленно.

Можно смотрѣть на дѣла и задачи искусства различно. Моя мысль обращена, главнымъ образомъ, къ тому, чего я хочу отъ искусства. Значительно не то, что есть, а то, къ чему наши устремлены желанія. Стоитъ захотѣть очень сильно, слить свою волю съ міровою волею, чтобы сбылось желанное. Недаромъ Вячеславъ Ивановъ говорить, что „высшій завѣтъ художника—не налагать волю на поверхность вещей, но прозрѣвать и благовѣствовать сокровенную волю сущностей. Художникъ долженъ облегчать вещамъ выявленія красоты. Онъ утончить слухъ, и будетъ слышать, „что говорятъ вещи“; изощритъ зрѣніе, и научится понимать смыслъ формъ и видѣть разумъ явленій. Нѣжными и вѣщими станутъ его творческія прикосновенія“ („По звѣздамъ“ стр. 250).

И объ этомъ же волевомъ свойствѣ художника говорить Братинскій:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ:
Ручья разумѣлъ лепетанье,
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,
И чувствовалъ травъ прозябанье.
Была ему звѣздная книга ясна,
И съ нимъ говорила морская волна.

Искусство нашихъ дней слѣдуетъ отграничить въ двухъ направленіяхъ. Съ одной стороны, оно существенно отличается отъ тенденціознаго искусства предыдущаго періода; съ другой стороны, оно отличается и отъ самодовлѣющаго эстетизма „искусства для искусства“. Искус-

ство для жизни и искусство для искусства—одинаково несовершенны виды искусства.

Искусство наших дней опять выходит на широкий путь свободного творчества, потому что въ немъ опять начинаютъ преобладать волевые элементы. Искусство нашихъ дней сознаетъ свое превосходство надъ жизнью и надъ природою.

Въ сознаниі общества вопросы искусства часто отступаютъ на второй планъ сравнительно съ вопросами практической жизни, а между тѣмъ, если есть на землѣ какая-нибудь цѣнность, безъ которой человѣкъ не можетъ обойтись, то это, конечно, искусство, или, употребляя болѣе общее выраженіе, творчество. Многими дѣлами занимается человѣкъ по необходимости или изъ соображеній практической пользы, многое дѣлаетъ принуждаемый и съ неохотою, иногда съ отвращеніемъ,—къ искусству же онъ приходитъ только потому, что хочетъ этого, и искусство всегда его радуетъ и утѣшаетъ. Даже и невозможно подойти къ искусству, если душою владѣютъ темныя и мелкія чувства. Всю свою душу вкладываетъ человѣкъ въ искусство, и вслѣдствіе этого ни въ чемъ такъ, какъ въ искусствѣ, не отпечатлѣнъ душевный міръ человѣка, то, чѣмъ люди живы. Когда мы хотимъ составить сужденіе о человѣкѣ той или другой эпохи, той или иной расы, то единственнымъ надежнымъ руководствомъ для насъ можетъ служить только искусство этого народа и этого времени.

Поэтому странно было бы смотрѣть на искусство только какъ на способъ красиво или выразительно изображать избранные моменты жизни. Искусство не есть только зеркало, поставленное передъ случайностями жизни, и не хочетъ быть такимъ зеркаломъ,—это для искусства неинтересно, скучно. Въ скучное занятіе—отражать случайности жизни, пересказывать мало забавные анекдоты никакъ нельзя вложить живой души. Душа человѣка всегда жаждетъ живого дѣланія, живого творчества, жаждетъ созиданія въ себѣ міра, подобнаго міру внѣшнему, предметному, но свободно построеннаго. Живая жизнь души протекаетъ не только въ наблюденіи предметовъ и въ нареченіи имъ выразительныхъ именъ, но и въ постоянномъ стремленіи понять ихъ живую связь и поставить все являющееся въ общій чертежъ вселенской жизни. Для сознанія нашего предметы являются не въ ихъ отдѣльномъ существованіи, но въ общей связности между собою. По мѣрѣ усложненія въ нашемъ сознаніи связности отношеній все содержаніе предстоящаго намъ міра сводится къ наименьшему числу общихъ началъ, и каждый предметъ постигается въ его отношеніяхъ къ наиболѣе общему, что можетъ быть мыслимо. Тогда всѣ предметы становятся только вразумительными знаками нѣкоторыхъ всеобщихъ отношеній, только многообразными проявленіями нѣкоторой мірообъемлющей общности. Самая

жизнь перестаетъ казаться рядомъ анекдотовъ, болѣе или менѣе занимательныхъ, и является сознанию, какъ часть мірового процесса, движимаго Единою Волею. Всѣ сходства и несходства явленій представляются раскрытіемъ многообразныхъ возможностей, носителемъ которыхъ становится міръ. Самодовлѣющей же цѣнности не имѣетъ ни одно изъ явленій мимотекущей дѣйствительности. Все въ мірѣ относительно, какъ это и признано въ наши дни относительно времени и пространства.

Весьма распространено заблужденіе, что искусство есть зеркало жизни, что искусство есть производное отъ жизни. Думаютъ люди, что вотъ они живутъ, а поэты ихъ наблюдаютъ и изображаютъ; думаютъ люди, что они-то и есть сюжеты романовъ, драмъ, поэмъ. Думая, что искусство изображаетъ ихъ, они приходятъ къ искусству, чтобы узнать себя и выносить изъ зрѣлища нравственные уроки.

Это заблужденіе опасное, потому что въ немъ, какъ и во всякомъ заблужденіи, есть зерно истины, извращенное до неузнаваемости. Это зерно истины состоитъ въ томъ, что люди дѣйствительно служатъ поэту, но не сюжетами, а матеріаломъ или, точнѣе, моделями, какъ натура для живописца.

Можно еще болѣе уступить общему предразсудку. Если хотите, и зеркало есть, но не въ искусствѣ передъ жизнью, а въ жизни передъ искусствомъ, и то, что дѣлается въ искусствѣ, отражается на лицѣ и въ душѣ воспринимающаго.

Воспринимающему, зрителю, читателю, только кажется, что онъ—живой человѣкъ, надѣленный разумомъ и волею. Какая скорбная ошибка! Разумъ нашъ есть часто система чужихъ словъ, мнѣній, привычекъ, чужой лжи и чужой правды, а воля наша почти всегда подобна волѣ той марионетки, которую подергиваетъ за веревочку спрятанный за кулисами господинъ. Сегодня онъ, человѣкъ нынѣшняго дня, говоритъ одно, а завтра, пожалуй, скажетъ другое. Онъ полагаетъ свою свободу въ томъ, что

Что ему книжка послѣдняя скажетъ,
То на душѣ его сверху и ляжетъ.

И когда мы имѣемъ дѣло съ этими нашими живыми знакомцами, пріятелями и врагами, мы зачастую не знаемъ, чего слѣдуетъ отъ нихъ ожидать: сегодня у него такое настроеніе, а завтра будетъ другое. Иногда какъ будто передъ вами въ томъ же обличіи стоитъ совершенно другой человѣкъ, невѣсть откуда взявшійся. Вы всматриваетесь въ вашего знакома, вдумываетесь въ его поступки, и соображаете:

— Кто же это такой?

И, наконецъ, догадываетесь:

— Да вѣдь это Чацкий.

Или Фамусовъ, Хлестаковъ, Митрофанушка, Плюшкинъ, Евгений Онѣгинъ, Гамлетъ, Донъ-Кихоть. И вы начинаете понимать, съ кѣмъ имѣете дѣло.

Неизвѣстное познается изъ сравненія съ извѣстнымъ. И кто же станетъ спорить противъ того, что мы гораздо лучше знаемъ Гамлета или Фальстафа, чѣмъ любого изъ нашихъ знакомыхъ? Темная душа тѣхъ, кого мы встрѣчаемъ на улицахъ или въ гостиныхъ, о комъ говоримъ: „чужая душа—потемки“, она освѣщается для насъ свѣтомъ нетлѣнныхъ образовъ искусства. Вотъ они-то и есть наши истинные знакомые и друзья, всѣ эти люди, вышедшие изъ творческой фантази. Они только и живутъ на землѣ, а вовсе не мы. Они-то и есть настоящие, подлинные люди, истинное, не умирающее населеніе нашей планеты, прирожденные властелины нашихъ думъ, могущественные строители нашихъ душъ, хозяева нашей земли. Слова ихъ вплелись въ ткань нашей рѣчи, мысли ихъ овладѣли нашимъ мозгомъ, чувства ихъ вопарились въ нашей душѣ. Они заставили насъ перенимать ихъ привычки и жесты, ихъ костюмы и бытъ. Цѣли ихъ стали нашими цѣлями, и сужденія ихъ, господъ нашихъ, владѣютъ надъ поступками нашими. Мы передъ ними—только блѣдные тѣни, какъ видѣнія кинематографа. Мы повторяемъ во многихъ экземплярахъ снимковъ чьи-то подлинныя образы, совершенно такъ, какъ на множествѣ экрановъ мелькаютъ образы многихъ женщинъ, разъ навсегда наигранные нѣкоею Астою Нильсенъ, знаменитою въ своемъ мѣрѣ. И мы не живемъ, а только дѣлаемъ что-то, блѣдные рабы своей темной судьбы. И если мы сами создали это племя господствующихъ надъ нами образовъ, то все же несомнѣнно, что въ этомъ случаѣ твореніе стало выше творца. И какое намъ дѣло до самого Шекспира и до того, кто онъ, Бэконъ или Рутлендъ или такъ Шекспиръ и есть, что намъ до этого, если душою нашею играетъ капризный очарователь Гамлетъ, и играетъ, и строить изъ нея то, что хочетъ!

Намъ хочется иногда отмахнуться отъ этого владычества придуманныхъ кѣмъ-то образовъ, избавиться отъ нихъ во имя нашей жизни, нашей души. Хочется сказать:

— Да вѣдь внѣ моей мысли нѣтъ Гамлета, и нѣтъ Офелии. Дездемона оживаетъ только тогда, когда я о ней читаю, и простодушно-ревнивый мавръ такъ и не задушитъ ея, если я не открою той страны. Значить, я живу, а они—фантомы.

Эти фантомы улыбаются и отвѣчаютъ спокойно:

— Живи, если хочешь, мы подождемъ, передъ нами вѣчность. Живи безъ насъ, если можешь. Но что будетъ съ тобою, если мы уйдемъ отъ тебя? Какъ же ты проживешь безъ Гамлета и безъ Донъ-Кихота,

безъ Альдонсы и Дульциней? И что же ты, наша бѣдная, блѣдная тѣнь, что же ты будешь, когда отойдутъ отъ плоскаго экрана твоей жизни наши образы?

Та великая энергія творчества, которая въ неностижимомъ актѣ созиданія была вложена въ художественный образъ, только она и заражаетъ читателя или зрителя. Слова обычной рѣчи, сегодняшній бытъ, облики нынѣшнихъ людей,—все это для поэта лишь матеріаль, какъ для живописца холстъ и краски. Сила не въ нихъ, а въ той художественной энергіи, которая заставила этотъ косный матеріаль служить творческому замыслу.

— А какъ же нравственные уроки?—спрашиваетъ читатель или зритель.—Вѣдь если въ романѣ или въ драмѣ дѣйствуютъ люди, то должны же они подчиняться нравственнымъ законамъ? И поэтъ, что бы онъ ни изображалъ, долженъ же показать нравственное отношеніе къ ихъ поступкамъ?

Докторъ Филиппо Меччіо говаривалъ:

— Этика и эстетика—родныя сестры. Обидишь одну,—обижена и другая („Королева Ортруда“).

Итакъ, будемъ вѣрить, что эстетика сестры своей въ обиду не дастъ. Гдѣ образъ явился плодомъ подлиннаго художественнаго процесса, тамъ блюстителямъ морали беспокоиться не о чемъ. Тартюфъ грѣшенъ, но безсмертенъ; ходить по свѣту, и заглядываетъ въ наши обитатели, и гдѣ найдетъ привѣтъ, тамъ и поселится. И такъ же каждый, ясно поставленный въ искусствѣ, образъ находитъ себѣ пріютъ, и въ насъ находитъ обезьянъ для подражанія, для забавы и для услугъ. А весь вмѣстѣ этотъ нетлѣнный народъ и даетъ намъ, быстро въ жизни преходящимъ, неложное мѣрило добра, истины и красоты.

Люди мелькающихъ дней, рожденные, чтобы умереть, мы должны чаще возвращаться въ общество нашихъ господъ, этихъ истинныхъ людей, чтобы учиться у нихъ познанію добра и зла, правды и лжи, красоты и безобразія. Будемъ всматриваться пристальнѣе въ ихъ живую жизнь, и тогда прольются на нашу призрачную, убѣгающую жизнь лучи ихъ яснаго свѣта.

Вѣдь не только мы подражаемъ искусству, но и природа, по остроумному мнѣнію Оскара Уайльда, занимается тѣмъ же.

„У природы есть добрыя намѣренія,—говоритъ Оскаръ Уайльдъ,—но искусство находитъ свое совершенство внутри, а не внѣ себя. Его нельзя судить ни по какому внѣшнему образу и подобію. Оно—скорѣе покрывало, чѣмъ зеркало. У него есть цвѣты, какихъ не знаетъ ни одинъ лѣсъ, птицы, какихъ нѣтъ ни въ одной рощѣ. Оно создаетъ и разрушаетъ міры, и оно можетъ свести луну съ небесъ пурпурною нитью. Ему принадлежатъ формы, которыя реальнѣе живыхъ людей, и

великие архи-типы, чьими незаконченными копиями является все, что существует" („Замыслы“, стр. 19).

Искусство, сознавшее себя столь могущественнымъ, не можетъ не чувствовать себя свободнымъ.

Но свобода не есть понятие безусловное. Свобода искусства есть его обусловленность законами, лежащими въ немъ самомъ.

2. Освобождаясь отъ власти публицистическихъ тенденцій и отъ власти самой жизни, искусство не становится отъ этого антиобщественнымъ и аморальнымъ.

Эстетическія и этическія основы новаго искусства неразрывно связаны. Хотя эстетику и нельзя подчинить соображеніямъ моральной природы, но все же эстетика и этика—родныя сестры, и очень дружны. Быть свободнымъ и въ своей свободѣ сильнымъ—это и есть общественный долгъ всякаго человѣческаго дѣянія. Общественную дѣльность имѣть только то, что свободно; принужденіе, хотя бы и по наилучшимъ побужденіямъ, непрочно. Моральность же искусства зиждется на его правдивости и искренности. Никогда не на томъ, что сказано, полезное или вредное, согласное или несогласное съ тою или другою программю, а всегда на томъ основана моральность искусства, какъ сказано, со всею ли вѣрою, со всею ли напряженіемъ творческой энергіи и творческой совѣсти.

Правдивымъ и моральнымъ, воистину свободнымъ вполнѣ можетъ быть только искусство символическое,—искусство, основанное на символахъ, въ противоположность натурализму, основанному на изображеніи міра, какимъ онъ является, какимъ онъ кажется намъ.

Когда художественный образъ даетъ возможность наиболѣе углубить его смыслъ, когда онъ будитъ въ душѣ воспринимающаго обширныя спѣвленія мыслей, чувствъ, настроеній, болѣе или менѣе неопредѣленныхъ и многозначительныхъ, тогда изображаемый предметъ становится символомъ, и въ соприкосновеніи съ различными переживаніями дѣлается способнымъ породить изъ себя миры.

Для символизма предметы этого преходящаго міра представляются не въ ихъ отдѣльномъ, случайномъ существованіи, какъ для натурализма, но въ общей связности не только между собою, но и съ міромъ болѣе широкимъ, чѣмъ нашъ, съ тѣмъ обширнымъ домомъ, о которомъ сказано: „Въ домѣ Отца Моего обители мнози“. Поэтому искусство символическое неизбежно приводитъ къ раздумью о смыслѣ жизни. И обратно, когда передъ обществомъ по той или иной причинѣ встаютъ вопросы о смыслѣ жизни, этимъ вопросамъ отвѣчаетъ интересъ къ искусству символическому. Вопросы же о смыслѣ жизни возникаютъ всегда, когда человѣкъ освобождается отъ практически-плоскаго вопроса: что дѣлать сейчасъ, сію минуту, т.-е. этотъ вопросъ о смыслѣ жизни воз-

никаетъ во всѣ періоды творческаго раздумья, предшествующія великимъ, но уже предрѣшеннымъ событіямъ, предрѣшаются же событія именно этими періодами творческой углубленности.

Символическое міропостиженіе упраздняетъ всеобщую относительность явленій тѣмъ, что, принимая ее до конца въ мірѣ предметномъ, признаетъ нѣчто единое, уже безотносительное, по отношенію къ чему все получаетъ свой смыслъ. Только это міропостиженіе всегда до нашихъ временъ было основой всякаго значительнаго искусства. Когда искусство не остается на степени пустой забавы, оно всегда бываетъ выраженіемъ наиболѣе общаго міропостиженія своего времени. Оно только кажется обращеннымъ всегда къ конкретному, къ частному, только кажется разсыпающимъ пестрыя сцѣпленія случайныхъ анекдотовъ. По существу же искусство всегда является выразителемъ наиболѣе глубокихъ и общихъ думъ современности,—думъ, направленныхъ къ мірозданію, къ человѣку и къ обществу. Самая образность, присущая искусству, обуславливается тѣмъ, что для высокаго искусства образъ предметнаго міра—только окно въ безконечность. Высокое внѣшнее совершенство образа въ искусствѣ соответствуетъ его назначенію, всегда возвышенному и значительному.

Поэтому въ высокомъ искусствѣ образы стремятся стать символами, т.-е. стремятся къ тому, чтобы вмѣстить въ себя многозначительное содержаніе, стремятся къ тому, чтобы это содержаніе ихъ въ процессѣ воспріятія было способно вскрывать все болѣе и болѣе глубокія значенія. Въ этой способности образа къ безконечному его раскрытію и лежитъ тайна безсмертія высокихъ созданій искусства. Художественное произведеніе, до дна истолкованное, до конца разъясненное, немедленно же умираетъ, жить дальше ему нечѣмъ и не зачѣмъ: оно исполнило свое маленькое временное значеніе, и померкло, погасло, какъ гаснутъ полезные земные костры, разведенные каждый разъ на особый случай. Звѣзды же высокаго неба продолжаютъ свѣтиться.

Символизмъ является одною изъ основныхъ чертъ новаго искусства, столь существенною, что теперь всякая литературная школа, которая отреклась бы отъ символизма, представляла бы лишь возвратъ къ прежнимъ формамъ искусства, наприм., къ натурализму. Быть символическимъ столь естественно для новаго искусства, что лѣтъ двадцать тому назадъ нѣкоторые русскіе поэты такъ и называли себя символистами. Можно было сказать, что эти поэты присвоили себѣ слишкомъ широкое обозначеніе. Вѣдь символизмъ не есть новое свойство, принадлежащее исключительно этому направленію поэзіи.

3. Символизмъ есть основа всякаго большаго искусства. Это—стихія, въ которую погружено большое искусство и которая создаетъ неразрывную связь содержація и формы. Искусство тенденціозное пред-

почтеніе отдаетъ содержанію, пренебрегая формою; искусство эстетовъ заботится только о формѣ, такъ что виртуозность формы прикрываетъ иногда ничтожное содержаніе; искусство же символическое отвергаетъ оба эти неправоу клона, и требуетъ полнѣйшаго соответствія между содержаніемъ и формою. Кого бы изъ великихъ писателей прежнихъ и новыхъ вѣковъ мы ни вспомнили, отъ Эсхила и Софокла до Ибсена и Метерлинка, всѣ они создавали образы, ставшіе для насъ символами, источниками живыхъ миоовъ. Примѣры: миоъ о похищеніи небеснаго огня Прометеемъ, о рыцарскихъ подвигахъ Донъ-Кихота во славу Дульцинеи, о преступленіи и наказаніи Раскольникова.

Для того, чтобы имѣть возможность стать символомъ, сдѣлаться пріоткрываемымъ окномъ въ безконечность, образъ долженъ обладать двойною точностью: онъ долженъ и самъ быть точно изображенъ, чтобы не быть образомъ случайно и праздно измышленнымъ,—за праздными измышленіями никакихъ глубинъ не откроешь; кромѣ того, онъ долженъ быть взятъ въ точныхъ отношеніяхъ его къ другимъ предметамъ предметнаго міра, долженъ быть поставленъ въ чертежѣ міра на свое настоящее мѣсто,—только тогда онъ будетъ способствовать выраженію наиболѣе общаго міропостиженія даннаго времени. Изъ этого слѣдуетъ, что наиболѣе законная форма символическаго искусства есть реализмъ. И, дѣйствительно, такъ почти всегда было.

Если мы возьмемъ даже сказки, сложенные народами, то и въ нихъ мы различимъ, съ одной стороны, выраженіе наиболѣе общаго міропостиженія того народа, которымъ сказки созданы, съ другой стороны—удивительную точность житейскихъ и бытовыхъ подробностей, хотя бы и сплетенныхъ съ фантастическими измышленіями. Не являясь механическимъ отображеніемъ жизни, по произволу комбинируя ея составные элементы, оставаясь искусствомъ, въ этомъ смыслѣ свободнымъ отъ жизни, сказка не обманетъ и того, кто, не углубляясь въ ея миологическое значеніе, захочетъ искать въ ней только изображеніе народнаго быта.

Это свойство символическаго искусства проявляется и въ наши дни. Тѣ, кому новое искусство не нравится, говорятъ, что оно отвращаетъ отъ жизни и отвращаетъ людей отъ жизни. Ничего подобнаго! Если возьмемъ романъ хотя бы такого упорно отвергаемаго поэта, какъ Ив. Рукавишниковъ, романъ „Проклятый родъ“, то мы не найдемъ въ немъ никакихъ ошибокъ противъ быта. Такое же точное изображеніе быта мы видимъ въ романахъ Андрея Бѣлаго, въ повѣстяхъ и разсказахъ Валерія Брюсова, какъ историческихъ, такъ и изъ современной жизни, и у другихъ дѣятелей новой поэзіи. Да и какъ же можетъ быть иначе? Искусство символическое, не тенденціозное, не заинтересованное, не имѣетъ никакого побужденія къ неточному пользованію своими моделями.

Случается, что реализм забывает свое истинное назначение—служить формой того искусства, которое выражает символическое миропостижение. Тогда он обращается къ простому копированію дѣйствительности, причѣмъ иногда этому копированію ставятся задачи публицистическаго характера. Тогда реализмъ, искусство высокое и прекрасное, вырождается и падаетъ до степени наивнаго натурализма. Въ этомъ наивномъ натурализмѣ, смѣнившемъ высокое творчество Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Льва Толстого, пребывала русская литература почти до конца XIX вѣка. Тогда возникло то литературное движеніе, которое было встрѣчено такъ недоброжелательно и которое получило наименованіе декадентства или модернизма. Представители этого новаго теченія весьма различались между собою, и не составляютъ единой литературной школы, но всѣхъ ихъ объединяло стремленіе возвратитъ поэзіи ея истинное назначеніе—быть выразительницею наиболѣе общаго миропостиженія, т.-е. возстановитъ права символизма, и, съ другой стороны, возродитъ реализмъ, какъ законную форму символическаго искусства. Это и было сдѣлано за послѣднія 20 лѣтъ, сдѣлано съ такою силою и властью, что въ наши дни возвратъ къ наивному натурализму почти невѣроятенъ.

4. Само собою разумѣется, что на протяженіи этого послѣдняго періода, обнимающаго приблизительно лѣтъ 20, новое искусство не стояло на одномъ мѣстѣ. Общій законъ измѣняемости коснулся и его. Можно было бы различить въ этомъ движеніи три стадіи, но при этомъ необходимо отмѣтить, что точной хронологической послѣдовательности здѣсь нѣтъ, и смѣшиваются границы этихъ стадій, которыя я обозначилъ бы такъ: первая—космическій символизмъ, вторая—индивидуалистическій, и третья—демократическій.

Первая стадія символическаго искусства представляетъ раздумье о мирѣ, о смыслѣ мировой жизни и о господствующей въ мирѣ Единой Воли. На пути эти возвышенныхъ вдохновеній предшественникомъ нашимъ былъ великій поэтъ Тютчевъ, столь близкій душѣ современности и столь жестоко оклеветанный христіански-злоствующимъ Д. С. Мережковскимъ. Изъ современныхъ поэтовъ справедливо указать на Вячеслава Иванова, автора превосходныхъ стихотвореній и глубокихъ теоретическихъ статей. Можетъ быть, и не вѣря въ міродержавную Единую Волю, потому что мудрость не всегда согласна съ вѣрою, этотъ поэтъ въ наши дни является выразителемъ наиболѣе глубокихъ думъ о мірозданіи.

Рѣзкимъ переломомъ въ русской литературѣ было, однако, не это космическое устремленіе символизма. Индивидуалистическая стихія русскаго модернизма казалась особенно неприятною русской критикѣ, и навлекла наиболѣе пареканій. Индивидуализмъ русскихъ модернистовъ истолковывался, какъ тенденція противообщественная, что, конечно,

ошибочно. Индивидуализмъ никогда и нигдѣ не могъ имѣть значенія противообщественнаго. Сама общественность имѣетъ цѣну только тогда, когда она опирается на ярко выраженное сознаніе отдѣльныхъ личностей. Вѣдь только для того и стоитъ соединяться съ другими, чтобы сохранить себя, свое лицо, свою душу, свое право на жизнь. Недаромъ завѣтомъ наикрѣпчайшей общественности служатъ слова: мой домъ— моя крѣпость.

Въ частности, индивидуализмъ русскихъ модернистовъ обращалъ свое жало не противъ общественности, а совѣтъ въ другую сторону. Мы уходили въ себя, въ свою пустыню, чтобы въ мірѣ внѣшнемъ, въ великомъ царствѣ Единой Воли найти свое мѣсто. Если Единая Воля править міромъ, то что же моя воля? Если весь міръ лежитъ въ цѣпяхъ необходимости, то что же моя свобода, которую я ощущаю тоже, какъ необходимый законъ моего бытія? Не бунтомъ противъ общественности былъ нашъ индивидуализмъ, а возстаніемъ противъ механической необходимости, противъ міропониманія чрезмѣрно-материалистическаго. Въ нашемъ индивидуализмѣ мы искали не эгоистическаго обособленія, а освобожденія и самоутвержденія, на путяхъ ли экстаза, на иныхъ ли путяхъ. Предстоялъ намъ вопросъ, что такое человекъ въ мірѣ, и какое его отношеніе къ Единой Волѣ.

Если все въ мірѣ связано цѣпями необходимости, то на себѣ я несу, и каждый изъ насъ несетъ, всю тягость совершеннаго когда бы то ни было зла и все торжество содѣяннаго когда бы то ни было блага. Въ этой цѣпи причинностей каждый изъ насъ является также и виновникомъ послѣдствій каждаго своего поступка. Весь міръ взвѣшенъ на мнѣ и на каждомъ изъ насъ, и это, налагая на наши слабыя плечи ярмо всеобщей отвѣтственности за грѣховность міра, даетъ намъ и возвышающую насъ возможность присоединить свою волю къ могучему потоку воли всемірной. Черезъ крайности надменнаго солипсизма или эгоцентризма это настроеніе души приводитъ насъ къ возвышеннымъ понятіямъ о богочеловѣчествѣ и богосыновствѣ. Уча сляпню своей частной воли съ Единою міродержавною Волею, нашъ индивидуализмъ былъ основою религиозно-философскихъ устремленій русской поэзіи послѣднихъ лѣтъ. Самъ же по себѣ нашъ индивидуализмъ не былъ длительнымъ, и легко переходилъ въ третій моментъ русскаго символическаго движенія послѣднихъ лѣтъ, въ демократическій символизмъ, жаждущій соборности и соборнаго дѣянія. Въ этой послѣдней стадіи преимущественно и пребываетъ нашъ символизмъ въ настоящее время.

5. Всякое искусство по существу символично, такъ какъ оно есть интуитивное познаніе. Развѣ не символично искусство такихъ реалистовъ, какъ Гоголь, Тургеневъ, Левъ Толстой? Образы Чичикова, Рудина, Хозяина и Работника являютъ намъ содержаніе, далеко превышающее то

временное значеніе, которое могли придавать этимъ образамъ современники. Символизмъ имѣеть задачею соединить вѣчное, непреходящее съ временнымъ, съ міромъ явленій. Эта задача искусства, какъ много рода познанія, всегда остается одна и та же, какъ бы ни измѣнялись способы выраженія.

Какъ способъ познанія совершенно особенный, искусство не можетъ обращаться только къ разуму. Оно требуетъ параллельнаго переживанія отъ воспринимающаго. Вѣдь каждый человѣкъ воспринимаетъ міръ съ нѣкоторой особенной, субъективной точки зрѣнія. Чередованіе поколѣній не имѣло бы никакого смысла, и не было бы смысла въ многолюдствѣ, если бы эти явленія во времени, въ смѣнахъ жизней, и явленія въ пространствѣ, въ призракахъ открытыхъ на міръ глазъ, не сопровождались многообразіемъ опытовъ, переживаній и міровоззрѣній, уживающихся одновременно. Это многообразіе впечатлѣній и опытовъ, эта живая жизнь образовъ искусства въ нашихъ душахъ способствуетъ основной задачѣ символическаго искусства—прозрѣнію міра сущностей за міромъ явленій.

Прозрѣваемъ міръ сущностей не разумно и не доказательно, а лишь интуитивно, не словесно, а музыкально. Не напрасно завѣтомъ искусства поставилъ Поль Верленъ требованіе:

„Музыка, музыка прежде всего“.

Прозрѣваемъ за міромъ явленій міръ сущностей, и въ свѣтѣ цѣнностей непреходящихъ оцѣниваемъ брэнность и зло жизни, а что же этотъ міръ? Этотъ міръ явленій, гдѣ все, появившееся на свѣтъ, обрадовавшееся жизни и обрадовавшее кого-то, все, все обречено увяданію, изнеможенію, гибели, и еще раньше, чѣмъ настанетъ смерть, все обречено порочности, всему живому дано почувствовать ложь и зло жизни, — что же этотъ міръ? Мое маленькое Я, мое личное сознаніе, прикованное къ мѣсту и времени, пространственно и временно ограничено; мое сознаніе прозрѣваетъ сокрытую сущность вещей, но само устращается той перемѣны, которую люди зовутъ смертью и которая ограниченному сознанію моему представляется роковымъ предѣломъ. Въ этомъ предчувствіи гибели причина того, что искусство стремится къ трагическому.

Устремленіе къ трагическому является вторымъ отличительнымъ признакомъ новаго искусства. Угрозы неумолимаго рока, бунтъ противъ судьбы, жуткое колебаніе всѣхъ основъ дѣйствительности,— все это опять входитъ въ область искусства нашихъ дней, и пророчить намъ наступленіе эпохи великаго искусства, подобнаго тому, какимъ было искусство Эсхила и Софокла.

Цѣль трагедіи—очищеніе души зрителя въ волевомъ актѣ сочув-

ствия и сопереживания. Драма хочет стать *активным* фактором нашей душевной жизни, произвести в ней некоторое внутреннее потрясение. Искусство научилось хотеть, и велико волевое напряжение нового искусства. Все творчество Максима Горького проникнуто ярко выраженным волевым напряжением. Настойчиво повторяется „хочу“ у новых поэтов.

Достаточно перелистать любую книгу стихов Бальмонта, чтобы почти на каждой страницѣ найти слово „хочу“ или повелительное наклонение какого-нибудь другого глагола. Бальмонтъ говоритъ:

Лишь пойми, скажи,—и будетъ. Захоти сейчасъ, сейчасъ,—
Будешь свѣтлымъ, будешь сильнымъ, будешь утромъ, въ первый разъ!

И въ другомъ мѣстѣ, въ другомъ настроеніи, но съ такимъ же волевымъ напряженіемъ:

Я вновь хочу быть нѣжнымъ,
Быть кроткимъ навсегда,
Прозрачнымъ и безбрежнымъ,
Какъ воздухъ и вода,
Безоблачно прекраснымъ,
Какъ зеркало мечты,
Непонятымъ и яснымъ,
Какъ небо и цвѣты.
Я вновь хочу быть соннымъ,
Быть въ грезѣ голубой,
И быть въ тебя влюбленнымъ,
И быть всегда съ тобой.

И еще въ другомъ мѣстѣ:

Я люблю одну бездонность, это волл, это я.

И еще:

Я хочу порвать лазурь
Успокоенныхъ мечтаний.
Я хочу горящихъ зданій,
Я хочу кричащихъ бурь!

И еще:

Я хочу быть кузнецомъ,
Я, работая, пою.

И еще стихотвореніе, всѣмъ извѣстное, которое начинается словами:

Хочу быть дерзкимъ, хочу быть смѣлымъ.

И кончается этими строчками:

Я буду счастливъ! Я буду молодъ!
Я буду дерзокъ! Я такъ хочу!

Даже, когда о смерти говорить Бальмонтъ, повторяется та же настойчивость воли:

Я хочу, чтобы бѣлымъ немеркнущимъ свѣтомъ
Засвѣтилась мнѣ смерть!

Даже любовь къ женщинѣ у современныхъ поэтовъ—любовь настойчивая и волящая. Въ самомъ высшемъ своемъ выраженіи, въ полномъ самоотверженіи и подчиненіи она все же носить этотъ волевой характеръ.

Это волевое напряженіе такъ сильно въ новомъ искусствѣ, такъ первоначальнѣе всѣхъ его свойствъ, что воспринимающій принуждается хотѣть того же, что и авторъ. Происходитъ зараженіе чарами искусства, а не убѣжденіе посредствомъ искусства. И оно же, это волевое напряженіе, ведетъ къ тому, что искусство выходитъ изъ своихъ келейныхъ затворовъ и изъ тѣсныхъ аристократическихъ круговъ и хочетъ говорить толпѣ, народу. Новое искусство имѣетъ, несомнѣнно, демократическій наклонъ. Не въ томъ, конечно, смыслѣ, что оно хочетъ искать въ народѣ поученія, идеаловъ, творимаго бога. Оно хочетъ быть демократическимъ потому, что настала часть его вліянія на широкія массы. Художникъ нашихъ дней не можетъ не видѣть, что пришла пора, чтобы интимное стало всемірнымъ, всенароднымъ. Толпа, захотѣвшая не только хлѣба, но и зрѣлищъ, уже готова отдать свою душу искусству.

Если еще нѣтъ условій, создающихъ всенародное искусство, то все же оно къ этому стремится. Искусство хочетъ быть демократическимъ, потому что въ этомъ оно видитъ трудную для себя, а потому и заманчивую задачу.

Искусство, которое не хочетъ быть всенароднымъ, вырождается. Если оно не хочетъ вырождаться, то оно должно принять въ себя нѣчто отъ варваровъ, отъ вповъ приходящихъ изъ глубинъ народныхъ. Варвары внесутъ въ наше искусство немножко безпорядка и много новой, вольной, своеобразной красоты.

Новое искусство и по формѣ своей демократично. Оно отвергаетъ гармонию данныхъ формъ, власть унаслѣдованныхъ традицій, привычныя понятія о красотѣ канонической, данной. Оно хочетъ творить новую красоту буйственно, дерзновенно, изъ всякаго матеріала, и всякое житейское переживаніе увлечь въ тотъ потокъ, которымъ стремится душа къ прекрасному и высокому.

Какъ искусство демократическое, искусство въ наши дни не можетъ не быть насыщено трагическими элементами, такъ какъ великая задача борьбы съ рокомъ и великая жажда очищенія дана уже не герою, а хору трагедіи, народу, который все чаще и чаще является объектомъ искусства. Такъ, на примѣръ, объектомъ искусства является не герой, а народъ въ трагедіяхъ Эмиля Верхарна („Зори“), въ драмахъ Октава Мирбо („Дурные пастыри“), Гергарда Гауптмана („Ткачи“), изъ русскихъ—въ трагедіяхъ Валерія Брюсова („Земля“), Леонида Андреева

(„Царь голодь“ и „Океаль“), Вячеслава Иванова („Танталъ“), въ драмахъ Минскаго.

Какъ искусство демократическое, искусство нашихъ дней не можетъ не быть символическимъ, потому что народъ и есть та среда, въ которой міръ воспринимается не разсудочно, а интуитивно,—та среда, въ которой поэтому всѣ предметы явственнo претворены въ символы, и въ этой же средѣ, въ многообразіи ея отношеній, изъ символовъ рождаются мифы.

Такъ опредѣляется тройная связь свойствъ искусства нашихъ дней. Оно хочетъ быть символическимъ, оно обвѣяно духомъ трагедіи, оно стремится стать всенароднымъ. Это искусство является постоянною думою о мірозданіи. Оно является неустаннымъ строительствомъ міропониманій.

6. Есть два способа отношенія къ міру—иронія и лирика. Въ поэтическомъ творествѣ я различаю два стремленія: положительное, ироническое, говорящее міру *да* и этимъ вскрывающее роковую противорѣчивость жизни, и отрицательное, лирическое, говорящее міру *нѣтъ* и этимъ созидающее иной міръ, желанный, необходимый, но и невозможный безъ конечнаго преображенія міра.

Называя эти два способа отношенія къ міру лирикою одно и другое иронією, я беру эти два слова не въ ихъ обычномъ значеніи. Со словомъ иронія я не хочу соединять представленія о намѣренно-притворной похвалѣ, объ очевидномъ несоотвѣтствіи кажущагося съ дѣйствительнымъ. Иронія въ моемъ словоупотребленіи хочетъ принять, благословить, восхвалить, несоотвѣтствие же кажущагося съ дѣйствительнымъ является невольно, но неизбѣжно. Слово лирика я здѣсь употребляю не только въ смыслѣ лирической, субъективной поэзіи, но въ болѣе широкомъ смыслѣ лирической настроенности, міропониманія субъективнаго, волевого, активнаго, въ противность міропониманію пассивному, обусловленному, научному.

Двѣ вѣчныя истины, два познанія даны человѣку. Одна истина, одинъ способъ пониманія міра—иронія. Она принимаетъ міръ до конца. Этимъ покорнымъ пріятіемъ міра она вскрываетъ роковыя противорѣчія нашего міра, уравниваетъ ихъ на дивныхъ вѣсахъ сверхчеловѣческой справедливости.

Другая истина о мірѣ—лирика. Она отрицаетъ и разрушаетъ здѣшній міръ, и на великолѣпныхъ развалинахъ его строитъ новый. Къ радостямъ этого новаго міра вѣчно влечется слабое сердце человѣка.

Вокругъ просторъ, никто не держитъ,
И пѣтъ оковъ,
И Божій гнѣвъ съ небесъ не вержетъ
Своихъ громовъ,

Но свѣтлый край далекъ отсюда,
И гдѣ же онъ?
Его приблизить только чудо
Иль вѣщій сонъ.

Трудно указать поэта, который былъ бы исключительно лирикомъ или ироникомъ въ указанномъ мною смыслѣ. Всякая поэзия представляетъ сочетаніе ироніи и лирики въ томъ или иномъ взаимномъ отношеніи.

Преобладаетъ иронія у такихъ поэтовъ, какъ Гете, Пушкинъ, изъ современныхъ Бальмонтъ, Брюсовъ. Преобладаетъ лирика у Шиллера, Гейне, Лермонтова, изъ современныхъ у Ал. Блока.

Писатели, любящіе быть, натуралисты, этнографы, силою вещей принуждаются къ ироніи. Какъ бы идиллически ни изображался быть, всегда поэту приходится вскрыть его несовершенства и противорѣчія. Сладчайшая изъ идиллій „Дафнисъ и Хлоя“, и болѣе поздняя „Павелъ и Виргинія“, и еще болѣе поздняя „Старосвѣтскіе помѣщики“, и совсѣмъ недавняя „Движенія“ Сергѣева-Ценскаго, изобразивъ съ необычайною ясностью всю радость простодушной земной жизни, не могли избавить этой радости отъ злыхъ и горькихъ отравъ. Искусство, какъ бы оно ни любило жизнь, никогда еще не сумѣло изобразить рай на землѣ. Объ этомъ блаженствѣ людей на землѣ говорятъ иногда только авторы утопій, но мечта ихъ устремлена къ будущему.

Нынѣ же мы видимъ, что писатели, называющіе себя реалистами, принуждены изображать преимущественно отрицательныя стороны быта, даже и тогда, когда изображается быть культурный.

Есть два типа быта, прямо противоположныхъ одинъ другому, хотя одинъ изъ нихъ и рождается изъ другого, какъ его неизбежное послѣдствіе: есть быть устоявшійся, культурный, и есть быть застолявшійся, реакціонный; быть нивы и быть болота. Когда устоявшійся, культурный бытъ исчерпываетъ все свое живое содержаніе, изживаетъ всю свою культурную цѣнность, тогда онъ начинаетъ переходить въ свою противоположность, въ свое рѣзкое отрицаніе.

То, что было разумно, необходимо, прекрасно въ бытѣ культурномъ, что въ немъ было благо и почти свято, что возвышалось почти до степени почитаемаго культа,—все это въ періоды упадка бытовой жизни, въ періоды болѣзни обществъ и ихъ переустройствъ становится нелѣпо, ненужно, безобразно, становится тягостно, какъ кошмаръ. Всѣ тѣ страданія отдѣльной личности, которыя прежде находили себѣ оправданіе въ прочности всего жизненнаго уклада, теперь являютъ ужасный видъ напрасной и ничѣмъ неоправданной жестокости. Все, въ чемъ видѣлъ человекъ смыслъ жизни, становится вдругъ двусмысленнымъ; весь нравственный міръ поколебленъ, и при такомъ настроеніи присут-

ствовать на зрѣлищѣ бытовыхъ картинъ представляется человѣку, охваченному этою болѣзнью времени, этою лихорадкою переменъ, такъ же странно и дико, какъ странно и дико было Гамлету присутствовать на вѣчальныхъ торжествахъ своей матери.

Быть въ такія эпохи становится кошмарнымъ, и самъ переходитъ въ свою крайнюю противоположность, въ дикую фантастику, подобную кошмарамъ Гойи.

Тогда вывести человѣка изъ ужасовъ этого кошмара хочетъ символическое искусство. Оно хочетъ преображенія быта творческою волею. Объ этомъ говоритъ одинъ изъ самыхъ очаровательныхъ мифовъ новаго времени, данный въ безсмертномъ романѣ Сервантеса, — мифъ о выборѣ дамы Донъ-Кихотомъ; съ нимъ сочетается и творимый нынѣ мифъ объ Альдонсѣ, становящейся Дульцинею.

7. Во времена рыцарства рыцарь выбиралъ знатную даму, и во славу ея совершалъ подвиги, требовалъ, чтобы всѣ признали его даму — прекраснѣйшею изъ дамъ.

Прекраснѣйшая изъ дамъ! Но кто же по праву единственная прекрасная дама?

Въ гордомъ замыслѣ бѣднаго Ламанческаго рыцаря прекраснѣйшая изъ дамъ — Дульцинея Тобозская. Такъ называлъ онъ крестьянскую дѣвушку Альдонсу, какъ бы предсказывая появленіе въ иной странѣ и черезъ много лѣтъ иного поэта, Некрасова, съ такою нѣжностью прославившаго крестьянку.

И она — воистину прекраснѣйшая, потому что въ ней красота не та, которая уже сотворена и уже закончена и уже клонится къ упадку, — въ ней красота творимая и вѣчно поэтому живая.

И эта красота творимая соотвѣтствуетъ жаждѣ истиннаго преображенія.

Всякій знаетъ лирически нѣжное имя Дульцинеи Тобозской, прекраснѣйшей изъ женщинъ. Ея прелести затмеваютъ красоту Елены Прекрасной и очарованія небесной Афродиты. Всякая Прекрасная дама и всякая Невинная дѣва — только небесные и земные лики Дульцинеи. Но не всякій сразу вспомнить иронически точное, въ метрику приходской церкви занесенное имя Альдонсы; это была та дебелая красotka, которую нашель Санчо-Пансо, посланный Донъ Кихотомъ въ Тобозо къ Дульцинеѣ.

Какъ истинный мудрецъ, Донъ-Кихоть для творенія красоты взялъ матеріалъ наименѣе обработанный и потому оставляющій наиболѣе свободы для творца. Альдонса — простая крестьянская дѣвица, смазливая, сильная, веселая. Ничего себѣ невѣста для деревенскаго жениха. Бойко спляшетъ на праздникѣ. А выйдетъ замужъ, — хорошею будетъ хозяйкою, и нарожаетъ здоровыхъ, сильныхъ ребятъ.

Таково обычное, санчо-пансовское воспріятіе дѣйствительности, сильная и прекрасная иронія, вдохновляющая всѣхъ прозаиковъ и точныхъ наблюдателей. А воспріятіе Донъ-Кихота, лирическое пониманіе дѣйствительности изъ этого грубаго матеріала творить цѣнность неопцѣненную, сокровище непреходящее,—то, чего нѣтъ, по что должно быть. То, что не сотворено во внѣшнемъ твореніи, но что творится поэтомъ, что вскрывается имъ за обликомъ общности.

Санчо-пансовское пониманіе міра видитъ среди предметовъ общаго міра только зримую Альдонсу, только то, что есть, что явлено во внѣшнемъ, не болѣе. Это пониманіе и есть натурализмъ, поэзія ироніи. Конечно, Альдонса, что же еще? И вся задача—изобразить зримую въ мірѣ Альдонсу точно.

Не таково настроеніе лирическаго поэта, Донъ-Кихота. Донъ-Кихоть требуетъ преображенія міра, требуетъ раскрытія заключенныхъ въ немъ прекрасныхъ возможностей. Посылаетъ вѣрнаго Санчо-Пансо, и говоритъ ему:

— Привѣтствуй Дульцинею, прекраснѣйшую изъ дѣвъ земныхъ.

Иронически, точно настроенный Санчо-Пансо видитъ только Альдонсу, простую и обыкновенную. Тѣмъ хуже для него. Грубы его чувства, и за пеленою тусклой общности не различаютъ возможностей и обѣтованій великой красоты. Надлежитъ ему преобразиться, пройти длинный путь культуры, истончить свои воспріятія,—и тогда приблизится онъ къ своему господину, и повѣритъ въ обѣтованную Дульцинею.

И самъ Донъ-Кихоть увидать наконецъ Альдонсу, не въ мечтаемыхъ чертогахъ, а въ ея дѣйствительной хижинѣ. Но что ему до Альдонсы! Въ зримой Альдонсѣ для него только матеріалъ для творенія желаемой Дульцинеи. Его слишкомъ волевой темпераментъ не позволяетъ ему только любоваться уже данною красотою. Такъ въ близкіе къ нашимъ дни волевой темпераментъ Некрасова увелъ его отъ любованія красотою дамъ къ опозитизированію слезъ не жемчужныхъ, слезъ горюшки вдовы. Альдонса для Донъ-Кихота и для лирическаго поэта только затѣмъ и нужна, чтобы ее дульцинировать.

Для лирическаго поэта, для Некрасова, какъ для Донъ-Кихота, нѣтъ Альдонсы,—есть Дульцинея. Для ироническаго поэта, какъ для Санчо-Пансо, нѣтъ Дульцинеи,—есть Альдонса.

Подвигъ лирическаго поэта въ томъ, чтобы сказать тусклой земной общности сжигающее нѣтъ; поставить выше жизни прекрасную, хотя бы и пустую отъ земнаго содержанія форму; силою обаянія и дерзновенія устремить косное земное къ воплощенію въ эту прекрасную форму. Лирическій подвигъ Донъ-Кихота въ томъ, что Альдонса отвергнута, какъ Альдонса, и принята лишь какъ Дульцинея. Не мечтательная Дульцинея, а вотъ та самая, которую зовутъ Альдонсою, или Дарьею,

или Ириною. Для васъ,—говоритъ лирический поэтъ,—смазливая, грубая дѣвка, для меня—прекраснѣйшая изъ дамъ. Ибо не должно быть на землѣ грубой, смазливой, непріятной Альдонсы. И если кажется, что она есть, то лирическое воспріятіе міра требуетъ чуда, требуетъ преображенія плоти. Требуется измѣненія жизни, просвѣтленія жизни, ореола надъ нею.

Когда Поль Верленъ, лирический, нѣжный поэтъ, влача дни свои въ нищетѣ, былъ близокъ къ смерти, онъ принялся золотить всѣ бѣдные предметы своей скудной обстановки: колченогій стулъ, убогая кровать—все засіяло передъ нимъ, обманывая воображеніе бѣднаго поэта блескомъ творимой красоты. Вотъ—трогательный примѣръ дульцинированія жизни.

Труденъ лирический путь дульцинированія Альдонсы, но легко обратный путь альдонсированія Дульцинеи. Если бы Салчо-Пансо встрѣтилъ какимъ-нибудь чудомъ Дульцинею, такую, какую ее воображалъ Донъ-Кихотъ, или увидѣлъ бы ея изображеніе въ искусствѣ, то онъ, конечно, искалъ бы въ ней привычныхъ ему чертъ Альдонсы. Вѣдь видѣли же мы недавно карикатурныя изображенія Джоконды. Для Леонардо да Винчи Джоконда—очаровательная дама съ загадочною улыбкою, для автора карикатуры—только дебелая баба, вовсе не красивая. Ничего нѣтъ легче—передразнить, осмѣять, написать пародію, нарисовать шаржъ, найти во всемъ черты пошлаго и смѣшного. Кто этого не умѣетъ!

Натурализмъ принуждается принять Альдонсу со всѣми ея противорѣчіями, какъ единственную истину, и отвергнуть Дульцинею, какъ нелѣпую и смѣшную мечту. Это есть то, о чемъ Пушкинъ говорилъ: „Прозаическія бредни, фламандской школы пестрый соръ“.

Лирика и сама на высочайшихъ ея высотахъ открываетъ роковую противорѣчивость въ самомъ своемъ восторгѣ, открываетъ неизбежность грѣхопаденія во всякомъ мыслимомъ мірозданіи. Она становится трагическою ироніею. Такова была поэзія Лермонтова, и къ такому же типу приближается прекрасная, глубокая и столь мало оцѣненная поэзія Минскаго.

Невозможность воплощенія мечты, невозможность дульцинированія Альдонсы погружаетъ душу въ безпредѣльную мечтательность и въ смертную истому. Лунная мечта Лилитъ обвѣяна тишиною и тайною, подобными тишинѣ и тайнѣ могилы.

Или въ нисходящей, роняющей вѣнецъ превосходства, Дульцинеѣ обличаются черты земной Альдонсы. Но такъ какъ лирикъ говоритъ Альдонсѣ нѣтъ, то и Дульцинею отвергаетъ онъ. Получается скептическая лирика, очаровательная поэзія Александра Блока.

И наконецъ возможна такая поэзія, когда принята Альдонса, какъ подлинная Альдонса и подлинная Дульцинея. Каждое ея переживаніе ощущается въ его роковыхъ противорѣчіяхъ, вся невозможность утвер-

ждается, какъ необходимость, за пестрою завѣсою случайностей обрѣтенъ вѣчный міръ свободы. Въ каждомъ земномъ, грубомъ упоеніи таинственно явлены красота и восторгъ. Иронія становится мистическою. Такою мистическою ироніею была поэзія Поля Верлэна. Такое же приятие зримой Альдонсы, земной дѣвы, за подлинную Альдонсу и за подлинную Дульцинею представляетъ образъ Анны Ермолиной въ моемъ романѣ Тяжелые сны.

8. Много можно найти и въ жизни, и въ искусствѣ примѣровъ претворенія Альдонсы въ Дульцинею. Между прочимъ, мечту Донъ-Кихота о претвореніи Альдонсы въ Дульцинею воплотила Айседора Дунканъ. Ею, какъ и другими подобными примѣрами, оправдана милая, странная, смѣшная для глухихъ дѣтей мечта.

Альдонса, въ теченіе вѣковъ сознавая свое мѣсто въ мірѣ и свое отношеніе къ таящейся въ ней Дульцинеѣ, наконецъ говоритъ міру и себѣ:

— Хочу быть Дульцинею!

И вотъ приходитъ Айседора Дунканъ, и являетъ міру высокое, обольстительное зрѣлище творимой по волѣ красоты. Творится эта красота не изъ какого-нибудь особенно выбраннаго, чрезвычайно изысканнаго матеріала. Ничего подобнаго. Здѣсь мы видимъ образецъ этой удивительной наклонности новаго искусства, какъ бы ни различались его произведенія въ другихъ отношеніяхъ и къ какимъ бы различнымъ школамъ они ни принадлежали,—наклонности брать матеріалъ, такъ сказать, безъ выбора. Таковъ и матеріалъ, изъ котораго творить свои очарованія Айседора Дунканъ. И лицо, и тѣло у нея совсѣмъ обыкновенныя, какъ у всѣхъ. Но видѣвши танецъ Айседоры Дунканъ хоть однажды видѣли это истинное чудо преображенія, обычной несовершенной плоти въ необычайную, творимую по волѣ на глазахъ нашихъ красоту, видѣли, какъ зрима Альдонса преобразается въ истинную Дульцинею, въ настоящую красоту этого міра, въ ту очаровательницу, которой захотѣлъ служить Донъ-Кихотъ,—и вмѣстѣ съ тѣмъ это чудо преображенія чувствуемъ мы и въ себѣ самихъ, какъ и всегда, когда жизнь или искусство вскрываютъ намъ Дульцинею подъ личиною Альдонсы. Если, конечно, хотимъ преображенія и если хотимъ его почувствовать. Потому что безъ устремленія воли ничто не дается человѣку; искусство не беретъ на себя обязанности производить насильственные, принудительныя преображенія хотя бы только въ душѣ нашей. Получаемъ отъ искусства лишь то, чего въ явленіяхъ искусства ищемъ.

Но чувствуетъ зритель Айседоры Дунканъ это вѣліе свободы въ своей душѣ, это удивительное преображеніе. Онъ, въ предметахъ видимаго міра замѣчавшій только несовершенное и смѣшное, всегда такъ иронически улыбавшійся,—иронически, конечно, потому, что этотъ міръ

и этотъ быть имъ совершенно и навсегда приняты, онъ восторгается и ликуетъ. Видитъ передъ собою полуобнаженное тѣло, и не испытываетъ никакого дурного, затаеннаго чувства. Прощаетъ невинности ея невинность, и ничего для себя отъ нея не хочетъ. И если бы увидѣлъ ее совсѣмъ нагую, то и тогда такимъ же чистымъ и пламеннымъ горѣлъ бы передъ нею восторгомъ.

И хочется сказать многимъ:

— Милыя, бѣдныя работницы, съ серпомъ или съ иглою въ утомленныхъ рукахъ, придите, взгляните на вашу сестру, на эту пляшущую и пляскою трудящуюся Альдонсу,—придите и научитесь, какія возможности красоты и восторга сокрыты въ вашихъ тѣлахъ; поймите, какъ прекрасна, какъ благоуханна преображенная въ дерзновенномъ подвигѣ, нестыдливо обнаженная, милая плоть, прекрасное тѣло творимой Дульцинеи.

Озареніе некрасиваго и обычнаго, вознесеніе его къ вершинамъ жизни и счастья — вотъ смыслъ лирическаго подвига какъ въ танцѣ Айседоры Дунканъ, такъ и въ иномъ явленіи Дульцинеи. Это—оправданная надежда на возможное еще на землѣ преображеніе нашей обычной жизни, такой некрасивой, перадостной и потому злой,—жизни, гдѣ неохотно пляшутъ и неумѣло радуются, и если радуются, то радуются со злостью. Въ проявленіи же Дульцинеи какъ бы начинается оправдываться пророчество Ибсена о томъ, что красота вся станетъ жизнью, и вся жизнь красотою.

Это стремленіе къ преобразованію простой и грубой, простонародной жизни красотою мы видимъ и въ трудахъ Далькроза, которые съ такимъ прекраснымъ энтузіазмомъ прославляются и пропагандируются въ Россіи княземъ Сергѣемъ Волконскимъ. Но нельзя не отмѣтить существенной разницы между танцами Айседоры Дунканъ и ритмическою гимнастикою Далькроза. Танецъ Айседоры Дунканъ идетъ отъ внутренняго переживанія, которое выражается въ рядѣ позъ, связывающихся въ свободное и легкое движеніе; этотъ очаровательный танецъ явственно идетъ отъ воли, имѣетъ волевой характеръ. Ритмическая же гимнастика Далькроза идетъ отъ вишняго побужденія, отъ внушенія музыки, требуетъ вниманія, точнаго исполненія, строгаго послушанія. Съ танцемъ Айседоры Дунканъ исполняемая ею музыка находится въ отношеніи предустановленной гармоніи, такъ что для даннаго переживанія надобно взять вотъ эту именно музыку, а не какую-нибудь другую. Въ ритмической же гимнастикѣ Далькроза начало идетъ отъ музыки. Музыка подчиняетъ себѣ душу упражняющагося, заражаетъ его тѣми или другими настроеніями,—просто говоря, музыка повелѣваетъ душою танцующаго. Танецъ Айседоры Дунканъ пробуждаетъ душу, освобождаетъ ее, возноситъ,—гимнастика Далькроза усиливаетъ душу, хотя и прекрасно

дисциплинирует ее. Отдавая полную справедливость этой удивительной системѣ хитро соображенныхъ упражненій, я всетаки отдамъ предпочтеніе дунканскому танцу. Для меня танецъ даже и неопытной дунканистки всегда пріятенъ. Далькросовскія упражненія нѣсколько скучны, и всегда немного жаль этихъ ученицъ и учениковъ, продѣлывающихъ такія головоломныя, и въ концѣ-концовъ ни на что ненужныя упражненія. Мнѣ кажется даже, что эти упражненія не хорошо должны дѣйствовать на волю танцующаго, принужденнаго раздроблять свое вниманіе, свою душу. Впрочемъ, для многихъ изъ людей нашего времени нужна еще первоначальная выучка воли, элементарныя упражненія въ дисциплинѣ. Для такихъ система Далькроза, по всей вѣроятности, очень полезна.

9. Созданный въ новое вѣка символъ Дульцинеи Тобозской и основанный на немъ мнѣ о служеніи Прекраснѣйшей изъ дамъ—очаровательны. Они волнуютъ и стремятъ къ великимъ достижениямъ, какъ великія идеи-силы. Дѣйственная сила символа и этого міаа тѣмъ выше, что, въ отличіе отъ міаовъ глубокой древности, здѣсь мы видимъ, въ самомъ символѣ, а не въ историческихъ или филологическихъ изысканіяхъ, происхожденіе міаа. Не изъ пѣны морской встаетъ сладчайшая очаровательница, Прекраснѣйшая изъ дамъ, а изъ великаго источника всякой живой и дѣйственной красоты, изъ могучаго океана народной жизни, на который низошла творческая мечта поэта.

Такъ какъ новое искусство соотвѣтствуетъ болѣе активному, болѣе дѣятельному состоянію души современнаго человѣка, то и образы его тогда имѣютъ наиболѣе дѣйственную силу, когда они въ себѣ самихъ несутъ исторію своего происхожденія. Вѣдь потому такъ и интересуютъ современныхъ знатоковъ и просто любителей искусства вопросы техники. Какъ это сдѣлано?—это для насъ часто интереснѣе, чѣмъ вопросъ о томъ, что изображаетъ сдѣланное. Потому такъ и нравится намъ скульптура Родена, что въ ней мы видимъ, какъ образъ возникаетъ изъ глыбъ грубаго матеріала.

Все искусство нашихъ дней—искусство устремительное и волевое. Для него характерны не столько тѣ новыя направленія, которыя такъ часто возникаютъ въ немъ, сколько самая неустанная смѣна этихъ направленій. Въ искусствѣ мы, люди нашихъ дней, постоянно стремимся къ новому. А исторія дополняетъ наши исканія, немножко успокаиваетъ нашу суету, порою крикливую и непріятную, и изъ новаго отбираетъ для храненія въ благодарной памяти потомства только достойное. Впрочемъ, можетъ быть, было бы не плохо, если бы и мы сами, проникшись справедливымъ духомъ строгой исторіи, радостно и жадно пріобрѣтствуя все новое, отбирали изъ него достойное. Это вѣдь и соотвѣтствовало бы волевому характеру нашей эпохи. Зачѣмъ же намъ ждать

приговорить неторопливой истории, когда мы и сами легко различимъ, что приходитъ къ намъ въ широкомъ руслѣ общемирового устремленія и что подарено намъ прихотью взбалмошной Айсы, веселой Мойры, любящей только анекдоты и охотничьи рассказы?

Чѣмъ явственнѣе волевой характеръ произведенія искусства, чѣмъ болѣе творческой энергіи вложено въ него, тѣмъ дѣйствиѣе это созданіе искусства, тѣмъ болѣе достойно долговѣчности.

Мы хотимъ отъ искусства того, чтобы оно творило новыя художественныя цѣнности изъ коснаго, неподатливаго матеріала. По волѣ нашей должны твориться цѣнности. Не то мы признаемъ художественно-цѣннымъ, что подходитъ подъ установленный канонъ, а лишь то, что мы захотимъ признать прекраснымъ. Глазами отжившихъ мы не хотимъ смотрѣть ни на одинъ предметъ земной жизни,—своими глазами должны мы все увидѣть, и всѣмъ предметамъ заново дать имена. Всѣ предметы хотимъ мы включить въ кругъ нашего творчества, потому что мы знаемъ, что на этой, на нашей, землѣ нѣтъ предметовъ недостойныхъ, низкихъ или грязныхъ,—есть только наше отношеніе къ этимъ предметамъ, то или иное по волѣ нашей. Какъ сказалъ Некрасовъ:

Если въ душѣ твоей ясны
Типы добра и любви,
Въ мірѣ всѣ темы прекрасны,—
Музу смѣлѣе зови.

Чѣмъ неподатливѣе матеріалъ и чѣмъ больше вложено въ дѣло созиданія творческой энергіи, тѣмъ прекраснѣе побѣда. Можетъ быть, здѣсь уместно будетъ повторить тѣ слова, которыми начинается „Творимая Легенда“, и которыя неоднократно уже повторялись многими критиками:

„Веру кусокъ жизни, грубой и бѣдной, и творю изъ него сладостную легенду, ибо я—поэтъ. Коснѣй во тьмѣ, тусклая, бытовая, или бушуй яростнымъ пожаромъ,—падъ тобою, жизнь, я, поэтъ, воздвигну творимую мною легенду объ очаровательномъ и прекрасномъ“.

Прежнее понятіе о художественной цѣнности, какъ началъ статическомъ, навсегда неизмѣнно незыблемомъ, чисто-эстетическомъ, о цѣнности прекраснаго, высокаго или трогательнаго, это понятіе умираетъ, и ему на смѣну приходитъ понятіе о художественной цѣнности становящейся, какъ начало динамическое, какъ внутреннее оправданіе. Новая, не данная намъ извнѣ, не наслѣдованная нами съ множествомъ другихъ предразсужденій отъ нашихъ предковъ, художественная цѣнность, творимая нами по волѣ нашей, творимая интуитивно, является началомъ созидательнымъ, ферментомъ великаго броженія.

Формальнымъ признакомъ новаго, волевого, жаждущаго трудностей

искусства является отклонение его от завѣщанныхъ вѣками канонѣвъ, то отклонение, которое такъ часто выводитъ изъ себя прилежныхъ теоретиковъ и историковъ искусства.

По словамъ Андрея Бѣлаго:

„Символисты, въ противѣсъ догматикамъ творчества, противопоставили самую энергію творчества безотносительно къ способамъ выраженія этой энергіи... Символизмъ подводитъ искусство къ той роковой чертѣ, за которую оно перестаетъ быть только искусствомъ; оно становится новою жизнью и религіею свободнаго человѣчества“...

Итакъ, къ великому труду призываетъ насъ новое искусство, къ труду преображенія жизни нашей, къ подвигу возстановленія свободной души въ человѣчествѣ. Это—трудъ, превышающій силы человѣка и возможный лишь въ состояніи того экстаза, который рождается въ душѣ человѣка лишь подъ влияніемъ высокихъ внущеній искусства. Жаждою подвига все болѣе и болѣе проникается современное искусство, жаждою бодрой и дѣятельной жизни, яркихъ красочныхъ впечатлѣній, смѣлой и свободной живописи, совсѣмъ не похожей на то, что мы привыкли видѣть въ музеяхъ. Это соотвѣтствуетъ волевой, стремительной душѣ современнаго демократическаго общества, того общества, въ которое непрерывно входятъ широкіе потоки вновь приобщающихся къ благамъ культуры варваровъ. Эти варвары вносятъ нѣкоторую смуту во всѣ наши понятія и о жизни, и объ искусствѣ, но зато вливаютъ свѣжую кровь въ вялыя вены дряхлѣющаго міра. И не большая бѣда въ томъ, что въ Италіи послѣдователи Маринетти хотѣли бы уничтожить произведенія стараго искусства, и что у насъ въ Россіи кто-то хочетъ музеи картинъ замѣнить музеями вывѣсокъ; для нашихъ городовъ не будетъ обидно, если юные художники будутъ разрисовывать вывѣски. И счастье современной цивилизаціи, что расшатывающіе ее варвары приходятъ не изъ далекихъ пустынь, а изъ дебрей нашихъ же городовъ; не гунны грозятъ Риму.

10. Такъ, жаждемъ подвига.

Славнѣйшій подвигъ и величайшая жертва—подвигъ, приводящій къ смерти, жертва жизни.

Вопросъ о смерти съ такою же неодолимою силою влечетъ многихъ современныхъ поэтовъ, какъ и вопросъ о смыслѣ жизни.

Повидимому, намъ, находящимся въ жизни, совершенно неестественно любить смерть. Мы привыкли думать, что смерть страшна, безобразна и бессмысленна, что она отнимаетъ отъ жизни весь ея смыслъ. Стоитъ ли жить, если все равно придетъ смерть? А между тѣмъ только смерть и даетъ весь смыслъ жизни, и безъ нея она была бы бессмысленна, какъ процессъ, безконечно, а стало быть, и безцѣльно, продолженный.

Смерть, подводя итоги всѣмъ жизненнымъ явленіямъ, укрощая всякую вражду и злобу, разрѣшая всѣ противорѣчія, спасая отъ нестерпимаго, не только осмысливаетъ, но и освящаетъ жизнь. Всѣ мы знаемъ, что вмѣстѣ со смертію въ дома наши входитъ торжественное, умиротворяющее настроеніе.

Метерлинкъ говоритъ, что если бы люди чаще вспоминали о смерти, то они относились бы къ жизни и другъ къ другу съ большею нѣжностью, осторожностью и вдумчивостью.

О смерти еще Боратынскій говорилъ:

О, дочь верховнаго Эмира!
 О, свѣтозарная краса!
 Въ рукѣ твоей олива мира,
 А не губящая коса.
 Когда возникнулъ мѣръ цвѣтущій
 Изъ равновѣсія дикихъ силъ,
 Въ твое храленіе Всемогущій
 Его устройство поручилъ.
 И ты летаешь надъ твореньемъ,
 Согласно прямъ его ля,
 И въ немъ прохладнымъ дуновеньемъ
 Смиряя буйство бытія.
 А человѣкъ! Святая дѣва!
 Передъ тобой съ его ланитъ
 Мгновенно сходятъ пятна гнѣва,
 Жаръ любовнаго страстія бѣжитъ.
 Дружится праведной тобою
 Людей недружная судьба:
 Ласкаешь тою же рукою
 Ты властелина и раба.
 Недоумѣнье, притупленіе—
 Условье смутныхъ нашихъ дней;
 Ты—всѣхъ загадокъ разрѣшеніе,
 Ты—разрѣшеніе всѣхъ цѣпей.

Все великое въ жизни приходитъ къ намъ вратами жертвенной смерти. И всякій, кто, смертельно тоскуя, изнемогая въ непосильной борьбѣ со зломъ нашей жизни, самовольно приближаетъ къ себѣ великую разрѣшительницу бѣдствій нестерпимыхъ, бросаетъ въ душу нашу великій и правый укоръ безобразію и злу нашей жизни.

Жертвенною смертію преобразится мѣръ, смертію и искусствомъ. Этими двумя одинаково, потому что искусство своимъ возвышающимъ и очищающимъ вліяніемъ на жизнь воистину подобно смерти. Жаждемъ невозможнаго, того невозможнаго, что мыслится нами, какъ необходимое для насъ,—испытываемъ, по выраженію Минскаго, жажду жгучую святыхъ, которыхъ нѣтъ,—и что же на землѣ можетъ утолить эту

жажду, кромѣ искусства, подобнаго смерти невозмутимымъ совершенствомъ своимъ?

11. Такъ какъ все связано въ жизни нашей, то и творчество въ искусствѣ влечетъ за собою творчество въ жизни. Особенно искусство нашихъ дней, все проникнутое волевыми элементами. Чѣмъ болѣе насыщено искусство творческою энергіею, тѣмъ болѣе энергія эта переливается въ жизнь. Искусство идетъ впереди жизни, и требуетъ отъ нея творческаго подвига, заражаетъ жизнь жаждою этого подвига. Гдѣ искусство не выполняетъ своей верховной, руководящей дѣятельности, тамъ жизнь обращается изъ дѣятельнаго, хотя и подражательнаго искусству подвига въ бытъ, отъ искусства независимый, но зато застойный. Искусство, идущее за жизнью, знаменуетъ всегда эпохи застоя, хотя бы и блистательнаго. Если въ искусствѣ торжествуетъ бытъ, это значитъ, что жизнь обнесена китайскою стѣною и тоскуетъ въ плѣну застойнаго быта. А искусство, возвратившееся къ жизни, становится, если вѣрнѣе парадоксальному утвержденію Оскара Уайльда, просто плохимъ искусствомъ.

Но почему становится возможнымъ творчество жизни? Творить жизнь можетъ и хотеть только тотъ, кто смѣетъ сказать Я. Только ставящій себя въ центрѣ мірового процесса можетъ найти въ себѣ достаточно силы для того, чтобы цѣлью своей дѣятельности поставить творчество жизни. Гдѣ личность подавлена, тамъ творчество невозможно. Возможна лишь тоска по творчеству, тоска пророческая, потому что за періодами застоя и угнетенности всегда слѣдуютъ періоды повышенной дѣятельности.

Тоска по свободному и дѣятельному проявленію творчества, тоска скованныхъ творческихъ силъ сказывается иногда въ искусствѣ превеличеннымъ культомъ личности, какъ это и было въ тотъ недолгій періодъ, когда русскій символизмъ пребывалъ въ стадіи самоуглубленнаго индивидуализма. Подавленная въ жизни, въ утѣшющей мечтѣ личность вознаграждала себя за свой плѣнъ пророческими представленіями. Отсюда возникало чистое выраженіе сувереннаго я, надменный солипсизмъ или эгоцентризмъ, бывший только краткимъ, но значительнымъ переходомъ къ современному состоянію русскаго символизма.

Это самосознаніе личности, становящей себя въ центрѣ мірового процесса, было выражено, между прочимъ, въ моей статьѣ „Книга совершеннаго самоутвержденія“ и въ моей поэмѣ „Литургія Миѣ“.

Полагая единственною основою всякаго возможнаго познанія только свое ощущеніе, каждый придетъ къ выводу, что единственное достовѣрное бытіе—мое бытіе. Все же, что миѣ является, для меня только образъ моего воображенія, и весь міръ становится для меня только

моимъ представленіемъ, какъ и для каждаго. И потому солипсистъ говорилъ:

„Все и во всемъ—Я, и только Я, и нѣтъ иного, и не было, и не будетъ“ („Книга соверш. самоутвержд.“).

Это не значить, что другіе люди—мой призраки. Для солипсиста другой человѣкъ—другое Я, столь же цѣнное.

Здѣсь, съ вами, и въ иномъ предѣлѣ,
Во всѣхъ просторахъ бытія,
И въ каждомъ духѣ, въ каждомъ тѣлѣ,
Все—Я. И все лишь только Я.

(„Литургія Миѣ“).

Все—Я, а что же ви́шній міръ, такой яркій, назойливый, красочный и въ то же время такой враждебный миѣ? Враждебный, но и такой привычный, такой легкий, такъ сразу воспринятый съ дѣтскихъ лѣтъ, воспринятый съ такою легкостью, какъ будто я прихожу на землю уже не первый разъ и уже не узнаю предметовъ вновь, а только вспоминаю ихъ. Можетъ быть, эта легкость воспріятія міра, эта врожденная привычка къ нему, это знакомое многимъ ощущение того, что нѣкоторыя переживанія уже знакомы миѣ по какой-то невѣдомой прежней жизни,—можетъ быть, все это указывало солипсисту на то, что міръ не что иное, какъ моя же мечта.

И говорилъ солипсистъ:

„Виѣ меня нѣтъ бытія, ни возможности бытія. Всякое познаніе есть только путь ко Миѣ, только средство самопознанія, только исполненіе стараго мудраго требованія: „Познай самого себя“.

Выводъ отсюда, конечно, не тотъ, который дѣлается поверхностнымъ эгоизмомъ. Поверхностный, хотя и послѣдовательный эгоизмъ полагаетъ, что все позволено. Солипсистъ, не видящій въ мірѣ ничего, кромѣ своихъ же переживаній, къ этому разрѣшенію себѣ всего прибавляетъ тотъ неизбѣжный выводъ совѣсти, что вѣдь зато и отвѣтственность за все, въ этомъ мірѣ совершающемся, лежитъ на Миѣ. Эта всеобщая отвѣтственность за грѣхи міра была ясна Достоевскому. Она же поражала иногда Леонида Андреева. Примѣръ—разсказъ „Тьма“.

И солипсистъ говорилъ:

„Если есть въ мірѣ грѣхъ, то это—Мой грѣхъ. Все могу, чего хочу,—и все хочу, что могу. Я одно и то же во всякомъ человѣкѣ, почему и не слѣдуетъ человѣку бояться смерти, какъ уничтоженія. Смерти, какъ конечнаго уничтоженія, нѣтъ. Но не слѣдуетъ человѣку и надѣяться на смерть, какъ на конечное уничтоженіе. Нѣтъ уничтоженія, нѣтъ забвенія, жизнь безконечна, и потому грѣхи всего міра на Миѣ, и вѣчна на Миѣ казни“.

Послѣдовательный солипсизмъ приводитъ, такимъ образомъ, душу человѣка къ религиозному слиянію съ единою міровою волею, и въ себѣ ощущаетъ человѣкъ вѣяніе той великой силы, которая движетъ міры и сердца.

Такъ, по закону тождества совершенныхъ противоположностей, наибольшая свобода равняется совершенной необходимости. Обособленіе, сообразно тому же закону, становится тождественнымъ съ общностью. И солипсистъ говорилъ:

„Между Мною и тобою нѣтъ разницы, нѣтъ границъ, нѣтъ раздѣленія. Ты и Я—одно. Забыть Меня—великій грѣхъ“.

Давая ощущение этой вселенской общности, искусство нашихъ дней стремится перешагнуть за предѣлы чистаго искусства, стремится преобразовать міръ усиленіемъ творческой воли. Въ этомъ искусствѣ дано стремленіе къ иной жизни, и потому художникъ является проповѣдникомъ будущаго. Но проповѣдуетъ онъ не догматически, а только отчетливымъ выраженіемъ и самоутвержденіемъ своего внутренняго Я. Самоутвержденіе личности и есть начало ея стремленія къ лучшему будущему.

12. Изъ этого вытекаютъ религиозныя отношенія искусства нашихъ дней. Это искусство религиозно, потому что имѣетъ трагическія, волевая устремленія. Трагедія всегда религиозна, и воля въ мірѣ только одна. Искусство нашихъ дней религиозно и потому, что оно—искусство символическое, а символизмъ всегда даетъ намъ ощущеніе всеобщей связности; онъ относитъ все являющееся къ одному общему началу и, подобно религіи, стремится проникнуть въ смыслъ жизни. Искусство нашихъ дней и потому религиозно, что оно хочетъ стремиться къ искусству всенародному, т.-е. уже и въ земныхъ формахъ осуществить живое ощущеніе вселенской связности и общности.

Поэтому въ искусствѣ нашихъ дней такъ сильны религиозно-философскія устремленія, выраженные въ творчествѣ Минскаго, Мережковскаго, З. Гиппиусъ, Блока, Чулкова, Вячеслава Иванова, Ремизова.

Искусство нашихъ дней подобно тому видѣнію, которое имѣлъ въ дѣтствѣ Блэкъ, англійскій поэтъ XVIII столѣтія.

„Въ то утро ко мнѣ въ окно заглянулъ Богъ“, говоритъ Блэкъ, вспоминая это видѣніе.

Поэтъ опять становится жрецомъ и пророкомъ, и въ томъ храмѣ, гдѣ онъ совершаетъ свое служеніе, искусство должно стать куполомъ, должно стать широкимъ и блистающимъ куполомъ надъ жизнью.

Куполомъ надъ жизнью возвышается искусство нашихъ дней, не потому, что оно служитъ цѣлямъ жизни,—жизнь своихъ цѣлей не имѣетъ,—а потому искусство раскидываетъ свой куполь надъ жизнью, что въ немъ жизнь получаетъ свое достойное завершеніе. Высокое произ-

всденіе—это и есть достигнутая цѣль, то, для чего жили люди,—цѣль, искусствомъ достигнутая, жизни поставленная. Цѣль эта ставится передъ жизнью потому, что и сама жизнь не хочетъ оставаться только бытомъ. Очарованная высокими внушеніями искусства, жизнь стремится въ тѣ области, которыя открыты передъ нею и осѣнены высокимъ куполомъ искусства.

Покрывая жизнь этимъ величавымъ куполомъ, хотя и не для жизни построеннымъ, а для свойственныхъ искусству задачій, искусство нашихъ дней утверждаетъ жизнь, какъ творческій процессъ. Утверждаетъ только жизнь, стремящуюся къ творчеству, и не пріемлетъ жизни, коснѣющей въ оковахъ быта. Искусство, являя образъ истиннаго бытія, ведетъ человѣка къ утвержденію наиболѣе высокихъ благъ жизни, къ самоутвержденію и творчеству.

Федоръ Сологубъ.

Огненная купель. ¹⁾

Канунъ войны въ Пиренеяхъ.

Святой памяти Марии Васильевны Шостаковской.

St. Savin.

За невозможностью жить здоровымъ въ самомъ Лурдѣ, гдѣ стерлись грани между отелями и больницами, мы поселились въ двадцати минутахъ ѣзды отъ него въ глубь Пиреней — въ Аржелесъ. Верстахъ въ двухъ отъ Аржелеса, въ мѣстечкѣ, называемомъ St. Savin, есть старенькая часовня, гдѣ тоже было когда-то явленіе Божіей Матери. Впрочемъ, St. Savin извѣстно больше старымъ бенедиктинскимъ монастыремъ, отъ котораго осталась романская церковь и нѣсколько прилегающихъ къ ней монастырскихъ дворишковъ, галлереекъ и низкихъ сводчатыхъ помѣщеній. За толстыми крѣпостными стѣнами церкви, скругленными на углахъ въ массивныя башни, было тихо и пусто, когда мы вошли туда, чтобы попросить кюрэ показать намъ часовню.

По стѣнѣ темнѣло распятіе, очень древнее очевидно (XIII вѣка, какъ узналъ я потомъ). Аскетически сухое тѣло Христа, вырѣзанное въ деревѣ почти въ натуральную величину, было самымъ страданіемъ. Вотъ онъ—„страсти Христовы“. Такъ могли воплощать ихъ только въ сосѣдней Испаніи, гдѣ была постигнута сухость и черствость страданія, и только въ сухомъ и черствомъ деревѣ, а не въ какомъ иномъ материалѣ можно было ихъ воплотить. Въ этомъ распятіи сама сущность страданія четко и ясно выдѣлена отъ грусти, печали и плача. Грусть, печаль—мокры и потому размягчаютъ, распариваютъ, какъ это несравненно показалъ Тиціанъ (весь отрицаніе „черствой корки“) въ „Плачущей Магдалинѣ“, которая вся разбухла и размокла отъ слезъ. Въ чистомъ страданіи душа, какъ и тѣло, ссыхается, но отъ этого безпрепятственно соприкасается съ богатствами міра,—

¹⁾ *Окончаніе. См. Русская Мысль, 1915 г., кн. XI.*

становится пустыней, надъ которой миражи и звѣзды. Если хочешь небесныхъ сокровищъ, возьми посохъ желѣзный и отправляйся въ пустыню. Но, кажется, это не единственный путь: въ иныхъ случаяхъ вмѣсто посоха можно взять мечъ, какъ это и сама церковь поощряла со времени крестовыхъ походовъ, которые къ тому же направлялись въ жарь и пустыню. Похоже на то, что такой случай представляется нынѣ: итти съ мечомъ въ черную пустыню Ганноверскаго района. Распятіе, вмѣстѣ съ церковью, въ которой находится, давно внесено въ списокъ „древностей“, т.-е. вычеркнуто изъ жизни. И вдругъ оно снимается со стѣны и само идетъ въ современность. „Какъ такъ! По вѣдъ это несовременно, это средневѣковье. Какое отношеніе имѣеть средневѣковье къ намъ, къ нашей культурѣ? Какъ оно можетъ появиться среди котелковъ!“ А оно идетъ, идетъ къ намъ. А мы разучились принимать его. Господи! Разучились принимать Тебѣ. Паучи насъ.

И тутъ же рядомъ съ распятіемъ—издѣліе XVII вѣка—органъ съ деревянными размалеванными рожами по фронтоу. Во время игры на немъ изъ раскрытыхъ пастей рожъ высовывались языки. Что за дьявольщина! Тамъ крокодилъ, тутъ рожи. Еще на башнѣ парижскаго Потрдам'а около химеръ возникаетъ недоумѣніе: какъ онѣ забрались сюда? Не видно, чтобы ихъ гнали, или что онѣ ворвались сюда. Напротивъ, по ихъ позамъ, по ихъ архитектурной идеѣ видно, что онѣ какъ-то ужились съ церковью; будто послѣ долгаго плаванія въ одномъ кораблѣ враждебное отношеніе къ нимъ какъ-то улеглось, утряслось и превратилось въ отношеніе мужика къ тараканамъ: „Э! Если ужъ завелись, пусть себѣ живутъ“. И *притились* онѣ, какъ воронье, по уголкамъ и карнизамъ церкви: бесполезныя, но терпимыя. Въ особенности одна изъ нихъ памятна: сидитъ и задумчиво уплетаетъ что-то вродѣ паршивенькой собачонки и даже не замѣчаетъ, что собачонка ожесточенно впила въ лапу зубами. Зажились, и никакой святой водой ихъ отсюда не выкуришь. Если не одобрены, то допущены, если не къ столу, то къ крохамъ отъ стола церкви, которыя и имъ иногда перенападаютъ. Но какъ могло случиться, что католическая церковь допустила къ святымъ мѣстамъ эту нечисть? Около лурдской святыни находишь нѣкоторый отвѣтъ этому.

Католическая церковь всю свою жизнь боролась съ дьяволомъ. И отъ долгой борьбы съ нимъ немного и гдѣ-то на периферіи сама прониклась его духомъ: такъ на передовыхъ линияхъ двухъ враждующихъ армій завязываются подчасъ мирныя отношенія.

Всякая война рано или поздно надоѣдаетъ и утомляетъ. И вотъ католическая церковь съ исхода среднихъ вѣковъ и вплоть до нашего времени обнаруживаетъ всѣ признаки утомленія и прежде всего все возрастающій вкусъ къ нѣжнымъ и сладостнымъ грезамъ о Женствен-

номъ. Даже „черствая“ и сухая Испанія позже другихъ католическихъ странъ, но зато и разительнѣй ихъ стала мякнуть въ Мадоннахъ Мурильо, которыя съ той поры все растущимъ роємъ гравюръ, фотографій, олеографій не переставая стали спускаться на своихъ облачкахъ къ изголовьямъ всѣхъ дѣтскихъ кроватокъ отъ Испаніи и до Польши, пока одна изъ нихъ наяву не спустилась на золотомъ облачкѣ Бернадеттѣ. И сами приставленные къ церкви „мужественные римляне“ незамѣтно обратились въ нянюшекъ, не перестающихъ умиляться надъ вѣренными имъ „ангельчиками“ и „херувимчиками“, и принялись нашивать платица для Мадоннъ; и тогда алтари стали подобными кукольнымъ домикамъ.

Помню праздничную процессію въ одной пиренейской деревнѣ. Мальчики въ обычныхъ красныхъ юбочкахъ и кружевныхъ стихаряхъ несли хоругви. Шли пѣвчіе—все дѣвицы, среди которыхъ въ качествѣ мужского голоса шелъ горбунъ, пѣвшій теноромъ. Шли четыре дѣвочки въ голубенькихъ и бѣленькихъ платицахъ, съ корзиночками на розовыхъ лентахъ, полными крошевомъ лепестковъ. За ними, подъ малиновымъ балдахиномъ, двигалась ихъ добрая толстая бонна-кюрэ въ кружевномъ полотняномъ салопѣ. По временамъ бонна ударяла въ ладошки, и тогда дѣвочки оборачивались къ балдахину, дѣлали реверансъ и быстро, быстро сѣяли конфетти изъ лепестковъ. Мило, но до чего дѣтски-женственно! При этомъ, кромѣ меня, если не считать горбуна, никого изъ мужчинъ. Помню, что было чрезвычайно неловко. „Солидный мужчина съ серьезнымъ лицомъ самъ привелъ себя въ дѣтскій садъ подъ надзоръ нянюшки, гдѣ, не какъ взрослый, снисходя, а добросовѣстно и серьезно, долженъ исполнять все, что другія дѣти“. Не въ столь сильной степени, но подобное же чувство неловкости я испытывалъ не разъ въ католическихъ церквахъ во время богослуженія. И всегда почти нѣтъ мужчинъ: все дѣти и женщины. Католичество стало по преимуществу дѣтскою и женскою церковью, церковью сахарныхъ грезъ и интимныхъ признаній. Потому мужчинъ тамъ какъ-то стѣснительно и неловко.

И замѣчательно, что вмѣстѣ съ уклономъ католической церкви въ „грезы“ и въ нѣжность, т.-е. съ замѣною латъ—юбкой, слѣдовательно, вмѣстѣ съ ослабленіемъ стальной сопротивляемости, появляется въ ней съ небывалой силой и чертовщина. Вѣдь не въ средніе вѣка, а наканунѣ новаго времени, въ Возрожденіе, адъ съ особенной силой прорвалъ во многихъ мѣстахъ фронтъ церкви и хлынулъ въ нее процессами вѣдьмъ, черной магіей и т. д. И эти вотъ маски, высывающія языки во время богослуженія, тоже прошли въ церковь въ вѣкъ Мурильо, а не „распятія“...

Откуда-то изъ боковой дверки вышелъ кюрэ — человѣчекъ съ чер-

ной окладистой бородкой и въ золотыхъ очкахъ. Миѣ говорили о немъ, какъ о любителѣ церковной археологии. Онъ съ упоеніемъ и съ головокружительной быстротой заговорилъ о достопримѣчательностяхъ церкви. Промчалъ насъ по житію S. Savin, представленному въ масляныхъ потемнѣлыхъ картинахъ, и повелъ въ ризницу показывать мощи святого. Узнавъ, что мы—русскіе, онъ проникся къ намъ острымъ и нескрываемымъ любопытствомъ и, кажется, подозрѣніемъ. Привычными руками открывая шкатулку фигурнаго серебра и показывая намъ косточку и рукавицу святого, онъ порой приостанавливался, все забывалъ и, смотря на насъ съ задумчивою улыбкой, говорилъ теноркомъ: Ah! Tiens, tiens, vous êtes des russes? и, опомнившись, снова принимался показывать. Показалъ напоследокъ и дыру въ стѣнѣ церкви, черезъ которую прокаженные, не допускаясь внутрь, слушали богослуженіе. О часовнѣ же и мѣстномъ явленіи онъ слышалъ мало. Съ извинительной улыбкой и какъ будто конфузясь передъ иностранцами за наивность всего происшествія, онъ могъ лишь въ самыхъ неопредѣленныхъ чертахъ рассказать, что нѣкогда *большая дѣвочка* изъ окна замка увидѣла на противоположномъ склонѣ долины, тамъ, гдѣ стоитъ теперь часовня, Божию Матерь.

„Вотъ все, что я знаю, остальное вы сами увидите“.

И онъ былъ правъ: остальное, и самое главное, досказываетъ сама часовня.

Она стоитъ въ долинѣ на макушкѣ горы, обвитой гирляндами цвѣтушихъ кустарниковъ, и если смотрѣть на нее съ противоположнаго склона долины, то, сама бѣлая, она сливается съ бѣлизною дальнихъ снѣговъ. И какъ разъ противъ часовни, на томъ склонѣ довольно широкой долины, виднѣется разрушенный замокъ, изъ окна котораго большая дѣвочка (кажется, дочь владѣльца) увидѣла Божию Матерь на мѣстѣ часовни. Значитъ, и здѣсь, еще очевиднѣй, чѣмъ въ Лурдѣ, пробрезжилась Она на горныхъ снѣгахъ и въ шиповникѣ. И при томъ, какъ и въ Лурдѣ,—большой дѣвочкѣ и въ мѣстности прокаженной, какъ бы для того, чтобы омыть, очистить ее. Словомъ, уже намѣчался здѣсь Лурдѣ, но почему-то не вышелъ, какъ не вышелъ онъ въ Беттарамѣ, въ Монтуссѣ, въ Гарезонѣ. *Золотая* пчелка, обильная медомъ и воскомъ, пробовала спуститься на цвѣтушіе кустарники вокругъ Лурда и выбрала, наконецъ, кустъ шиповника въ Лурдѣ...

У субъ-префекта.

Имѣющій резиденцію въ городкѣ Аржелесѣ помощникъ префекта тарбскаго департамента учтиво принялъ насъ въ своемъ присутственномъ кабинетѣ, украшенномъ официальными портретами штатскихъ во

фракахъ и лентахъ. Соответственно штатскому положенію этихъ особъ и рамки ихъ были отнюдь не золоченыя и не въ коронкахъ. Сразу видно, что въ этой странѣ золотыя коронки носятъ развѣ только на зубѣ. И вѣдь какъ удобно и просто устроились: зачѣмъ папа, когда есть зубные врачи? Но глазу, привыкшему въ присутственныхъ мѣстахъ къ горностаямъ, эти штатскіе не внушали достаточнаго респекта и все какъ-то казались ему портретами родственниковъ молодого человѣка, сидящаго въ этой комнатѣ. Однако молодой субъ-префектъ уже прекрасно умѣлъ оборачиваться къ посѣтителямъ непроницаемою стѣной, за которую посѣтителямъ входъ воспрещается.

„Вы можете оставаться тутъ совершенно спокойно,—считалъ своимъ долгомъ утѣшить насъ субъ-префектъ,—о мобилизаціи намъ ничего не извѣстно, между тѣмъ, если бы она ожидалась, намъ были бы даны предварительныя распоряженія“.

Зазвонилъ телефошъ. Субъ-префектъ извинился и подскочилъ къ трубкѣ.

„Г-нъ префектъ, это вы?... Да, г-нъ префектъ... Въ моемъ округѣ ихъ немного... Нѣтъ, г-нъ префектъ... За всѣми установленъ надзоръ... Будьте спокойны, г-нъ префектъ, я не выпущу ихъ изъ вида“.

Ясно: о нѣмцахъ говорилъ, а, можетъ быть, и о всѣхъ иностранцахъ, въ томъ числѣ и о насъ. Что-жъ, не худо... И даже какъ-то отрадно. Спокойный, увѣренный тонъ субъ-префекта и даже его самодовольный видъ, какъ у человѣка, у котораго все готово и совѣсть чиста передъ начальствомъ, и то, что звонитъ телефонъ—все это возбуждало довѣрчивое благоговѣніе и къ субъ-префекту, и къ его важнымъ родственникамъ. Дѣловые люди, имъ можно довѣряться. А горностаи тутъ, пожалуй, и ни при чемъ. И хорошо, что не допускаютъ постороннихъ дальше, въ „машинное отдѣленіе“. У машины должны быть одни машинисты. Но до чего пріятно слышать, какъ машина работает!

Субъ-префектъ снова повернулся къ намъ съ кресла — невозмутимой стѣною:

„А что вокзальнымъ кассамъ запрещено размѣнъ кредитныхъ билетовъ, въ этомъ нѣтъ не только ничего грознаго, но и новаго. Это запрещеніе всегда было, но раньше на него смотрѣли сквозь пальцы, теперь же рѣшили исполнять во всей строгости. Вотъ и все“.

И въ тонѣ послѣднихъ словъ слышалось: „Ну, чего же вы расхныкались, глупые?“ И субъ-префектъ посмотрѣлъ на насъ съ ласковой укоризной...

Заклинаніе.

Однако, чувствовалось, что событія надвигаются. Уже плакала въ пансіонѣ мать о своемъ сынѣ и жадно принимала слабое утѣшеніе, что

ея „маленькій“, будучи техникомъ, можетъ быть, и не будетъ взять въ армию. „Вѣдь если у меня его возьмутъ,—говорила она,—я останусь совсѣмъ, совсѣмъ одинокой. Кромѣ него, у меня никого нѣтъ на свѣтѣ“.

Повинуясь чувству непредотвратимости, на другой же день послѣ разговора съ субъ-префектомъ мы снялись изъ Аржелеса, рѣшивъ продвинуться пока - что до Тулузы, гдѣ и задержаться до выясненія обстоятельствъ. На станціи въ Аржелесѣ моему другу какимъ-то чудомъ удалось выманить отъ кассира золотой двадцатифранковикъ. Видно, распоряженіе, о которомъ говорилъ субъ-префектъ, дошло сюда въ весьма ослабленномъ видѣ.

Въ Лурдѣ мы застали замѣтное оживленіе. Впрочемъ, это оживленіе не относилось къ событіямъ. Просто это былъ одинъ изъ обычныхъ для Лурда дней, такъ называемыхъ „малыхъ паломничествъ“, когда сюда пріѣзжаетъ лишняя сотня—другая больныхъ. До поѣзда въ Тулузу времени оставалось довольно, и я пошелъ взглянуть еще разъ на гротъ.

Площадка передъ гротомъ уже не казалась на этотъ разъ „музыкальной“. Скамьи были убраны: на ихъ мѣстѣ сомкнутыми рядами стояли носилки свѣже-прибывшихъ больныхъ. За носилками, какъ за пѣхотой, стояла кавалерія этой рати — ярусы трехколесныхъ колясочекъ. И все это стѣснилось и сбилось, охваченное подковой толпы. Отдѣльные носилки, очевидно, не успѣвши попасть внутрь подковы, стояли внѣ ея, просто гдѣ-то въ ногахъ. Исполнивъ свою нелегкую работу, около носилокъ и колясокъ стояли съ разноцвѣтными перевязями на рукахъ и съ ремнями добровольцы-носильщики, среди которыхъ часто можно было замѣтить и рясы аббатовъ. „Дамы милосердія“ закутывали и поправляли больныхъ. Работа, которую берутъ на себя здѣсь эти, большею частью великосвѣтскія дамы, — сплошной подвигъ умерщвленія брезгливости къ ближнимъ. Милосердіе, открывающее объятіе прокаженнымъ, дѣйствительно, съ основанія и донныѣ проводилось въ Лурдѣ съ не меньшимъ ожесточеніемъ, чѣмъ во времена св. Пахомія — умерщвленіе плоти, и есть его первая и единственная добродѣтель. Говорятъ, даже больные, попавъ въ этотъ вертепъ милосердія, на время излѣчиваются тутъ отъ закоренѣлаго эгоизма и начинаютъ молиться не о своемъ выздоровленіи, а объ исцѣленіи другихъ страждущихъ. Всѣмъ имъ примѣромъ служить эта бѣлая Дама, отблескъ которой отразила на себѣ хрупкая и безропотная Бернадетта, Дама, которая какъ бы выходитъ изъ ниши навстрѣчу больнымъ—вѣчной сестрой милосердія. Отъ ея бѣлизны вѣетъ не только чистотой горныхъ снѣговъ, но и еще чѣмъ-то... очень знакомымъ... И когда видишь столпившихся къ Ней больныхъ, сразу же вспоминаешь: Ея бѣлизна есть больничная бѣлизна. А Лурдъ—Ею основанный лазаретъ.

Въ томъ и мировое значеніе Лурда, что онъ съ необычайной силой и исчерпывающей полнотой явилъ міру идеаль *сестры милосердія*. И какъ страшно своевремененъ становится теперь Лурдъ! Можетъ быть, и созданъ онъ былъ въ предвидѣніи того, что на насъ надвигается. Если такъ, то непредотвратимое надвигается. Маленькая Бернадетта, подозрѣвала ли ты въ то утро, когда плескала на Даму святою водою, для чего можетъ пригодиться не тобою созданный, но тобою открытый Лурдъ, и что могла видѣть Она, когда по временамъ съ безконечной грустью, отъ которой твое сердечко сжималось, начинала смотрѣть въ даль?

Но все бѣлое легко пачкается. Если бы Лурдъ сберегъ свою бѣлизну, то прежде всего не коптилъ бы одежды Пречистой стеариновымъ дымомъ. Между тѣмъ въ Лурдѣ повсюду изъ-за дешевизны воскъ замѣненъ стеариномъ. Самое мѣсто, на которомъ воздвигся Лурдъ, видимо, не безопасно для бѣлыхъ одеждъ: надъ гротомъ Массабель Лурдъ стоитъ, какъ надъ угольной ямой. Этотъ гротъ всегда считался мѣстомъ нечистымъ, а послѣ явленій онъ заговорилъ о себѣ стопами, визгомъ, истерикою кликушъ—подражательницъ Бернадетты—и славою подозрительнаго притона. Явленія подняли дремавшій рой. Что и понятно: гдѣ медъ, тамъ и мухи. И съ Лурдомъ случилось то, что со всей западной церковью послѣ разоруженія. Чѣмъ могъ дѣвичникъ остановить нашествіе нечисти? Вонъ тамъ есть у нихъ стражъ у входа—танцующій Михаилъ—единственный мужчина въ дѣвичникѣ. Я давно присматриваюсь къ этому представителю мужского и ратнаго духа современнаго католичества. Серебряныя, облегающія торсъ латы обнажаютъ шею съ кудрявой головкой и розовыя, женоподобныя ноги, чуть прикрытыя голубою юбочкой и въ изящныхъ котурпахъ. Одна нога граціозно приподнята въ воздухъ, другая на пуантѣ поддерживаетъ корпусъ на хребтѣ змѣя. Но гдѣ же тяжелая „римская“ поступь? Гдѣ же попраше? Такому не только змѣя, но и мухъ не попраше. И вотъ мухи обсиѣли весь Лурдъ: торгашествомъ, душеспасительною галантереей и безвкусіемъ курортнаго шика. Такъ на Силоамской купели появился налетъ водолѣчбнаго заведенія.

Но что это вдругъ загорланило и забормотало около самаго грота? Уже давно съ высокой кафедрой около именинныхъ букетовъ вопить проповѣдникъ. По его правую руку внизу по чернотѣ грота лицомъ къ толпѣ размѣстились 5—6 фигуръ въ черныхъ сутанахъ. Это онѣ, прервавъ проповѣдника, вдругъ и всѣ разомъ загорланили и забормотали. Въ одинъ голосъ, точно зубря, онѣ настойчиво повторяли какую-то фразу, сказанную проповѣдникомъ, изъ которой слышалось только: гау... гау... гау... А толпа глухо имъ отборматывалась. Спокойно переждавъ этотъ грай, проповѣдникъ завопилъ съ новой силой. Но вскорѣ снова былъ прерванъ. И опять завопилъ и былъ прерванъ съ еще боль-

шимъ ожесточенемъ. И это повторилось еще и еще, и еще... Ишь раскаркались! Особенно усердствовалъ одинъ, молодой, стоявшій подъ самой каедрой съ краю шеренги. Въ то время какъ его руки спокойно висѣли вдоль длиннаго туловища, а глаза глядѣли серьезно въ золотыя очки, и все лицо выражало полную несмущаемость,—ротъ его разѣвался галочьимъ зѣвомъ и басомъ гаркалъ заклятія. Рядомъ съ нимъ благодушно сипѣла толстая баба, дальше пищалъ маленькій старичокъ, и еще виднѣлось лошадиное рыло съ блѣдной, дряблой щекой. Заклинають... Конечно, молятся, но кажется, что заклинаяють. Какъ же не замѣчать, что внѣшность и методъ взяты отъ черной магіи! Прислушиваюсь къ долетавшимъ до меня отдѣльнымъ словамъ проповѣдника и убѣждаюсь, что онъ говоритъ по-нѣмецки. Значитъ, эта толпа только что прибыла изъ Германіи. Для лурдскаго милосердія нѣтъ незваныхъ. Ну, а „Ганноверскій районъ“ чѣмъ встрѣтитъ Лурдъ? Бернадеттой съ пузырькомъ освященной воды? Другого оружія нѣтъ сейчасъ не только въ Лурдѣ, но и во всемъ католичествѣ. И ясно, что во время войны католическая церковь сможетъ быть только международнымъ госпиталемъ.

Рядомъ съ нѣмецкой толпой передъ гротомъ стоитъ французская толпа передъ купальнями. Лицомъ къ толпѣ стоятъ два аббата—одинъ тощій, съ жалкими, кривыми ногами, торчащими изъ-подъ рясы, другой коротенькій, толстый, съ руками на животѣ, похожій на жирную муху, и тоже заклинаяють, только болѣе деликатно, чѣмъ нѣмцы. Изъ фразы, повторяемой ими, только и слышалось: Іезусъ—Марія, Іезусъ—Марія, Іезусъ—Марія... Въ это время за ихъ спиной происходило таинство погруженія въ лурдскую воду. Удаляясь, я еще долго слышалъ: Іез...з...з...з..., Іез...з...з...з..., Іез...з...з...з... Ишь жужжать. Гдѣ медъ, тамъ и мухи.

Но поистинѣ вся лурдская копоть—только слѣды мухъ по сравнению съ тѣмъ, что надвигается изъ-за Рейна

Боже, какая чернота идетъ изъ-за Рейна!... Сиръ Роландъ, трубите въ вашъ рогъ Олифантъ. Зовите вашихъ старыхъ товарищей — Оливье и Ожье, Герье и Герена и славнаго Турпина епископа. Идите изъ Ронсево въ Лурдъ спасти милую Францію. Тамъ распалилась печь. Надъ ней, гдѣ стояла бѣлая Дама, водрузилось распятіе. Епископъ Турпинъ скажетъ: „Я вижу за огнемъ рай, идемте, сиръ Роландъ, трубите въ вашъ рогъ, ведите въ огонь милую Францію“

Мать, отслони заслоны, загляни въ печь:

„Во печи трава выростала,
„На травѣ цвѣты расцвѣтали,

„Во цвѣтахъ младенецъ играетъ,
 „На немъ риза солнцемъ возсіяетъ,
 „Евангельскую книгу самъ читаетъ,
 „Небесную силу прославляетъ,
 „И со ангелами, съ херувимы
 „И со всею съ небесною силою“.

Паника.

Между тѣмъ около лурдскаго *Crédit Lyonnais* уже шла паника. Расфуфыренная дама кудачтала на всю улицу, что наступилъ позоръ Франціи, такъ какъ золото даютъ иностранцамъ, а французамъ — бумажки. И въ доказательство она потрясала бумажками, дѣлая видъ, что швыряетъ ихъ. А все оттого, что завѣдующему нашей общей сокровищницей другу еще наканунѣ удалось выманить у банковскаго кассира неопредѣленное обѣщаніе, когда будетъ возможность, выдать по аккредитиву хоть сто франковъ золотомъ. И къ нашему удивленію, а къ дамину посрамленію, кассиръ, поморщившись, исполнилъ — таки свое неосторожное обѣщаніе.

III.

Встала изъ мрака молодая съ перстами пурпурными Эось.

Одиссея.

Д у х о т а .

Передъ самымъ отходомъ поѣзда вошли и сѣли къ намъ въ отдѣленіе три черныхъ матери — три пиренейскихъ крестьянки. Онѣ ѣздили въ Лурдъ молиться за своихъ сыновей. На маленькой станціи, откуда поѣздъ сворачиваетъ съ Пиреней, три черныя матери слѣзли и пошли къ себѣ въ горы. Вѣчное пошло къ вѣчному... Умолкнемъ... Поклонимся горамъ въ землю... Никогда не забудемъ...

Вечеромъ въ розоватомъ, но все еще раскаленномъ воздухѣ засѣрѣла Тулуза. Въ душный лѣтній вечеръ, да еще на вокзальной площади въ грязной рубашкѣ отелей Тулуза ложится на душу тяжелымъ уныніемъ. Тулуза, гдѣ твоя пышность? Гдѣ гербы, щиты, трубадуры? Впрочемъ, на мое горестное заклинаніе въ столовую одного изъ клоповыхъ отелей вошла тѣнь трубадура — бродячая арфа. Всегда мнѣ казалось, что даже въ самой безличной повседневности многихъ нынѣшнихъ городовъ въ мутномъ и тускломъ повтореніи живетъ прошлое... Опьяненный арфой и абсентомъ, распоясавшійся сержантъ въ красныхъ штанахъ вытряхалъ на стойку деньги изъ кошелька и оралъ: „На-те все... Зачѣмъ теперь деньги? Завтра, можетъ быть, буду тамъ, гдѣ де-

негъ не нужно“. И, освободившись отъ денегъ, какъ передъ битвой, опоясывался тесакомъ.

На главномъ бульварѣ до поздней ночи стояла темная, молчаливая, проступающая изъ черноты эвкалиптовой тѣни лишь въ каймѣ ресторанаго свѣта толпа. Только по временамъ тишина эвкалиптовой тѣни оглашалась попугаечьимъ крикомъ газетчиковъ. Ждали извѣстия. Но въ эту ночь извѣстия еще не было.

На клоповой кровати въ душевой комнатѣ мнѣ все представлялось, какъ три черныхъ матери пошли въ горы... и слились съ горами—величье горя съ величиемъ горь...

День былъ душный и вѣтреный. Клубы пыли, уличнаго сора и вершинъ эвкалиптовъ смѣшались въ одно сѣро-зеленое, нестерпимо душное варево. И вспомнились такіе же душевные дни въ Парижѣ наканунѣ рокового событія. ¹⁾ Ждали грозы. И дѣйствительно, гроза грянула въ самую духоту—въ метрополитанъ, но пощадила скопище духоты еще болѣе вредной—большіе парижскіе магазины—Galerie de la Fayette, Au printemps, Louvre...

Въ этихъ зеркальныхъ дворцахъ Черномора царить противная сладкая, душистая ядовитая теплота. Тотъ же Босхъ, провидецъ Ганноверскаго района, провидѣлъ и большіе парижскіе магазины въ картинѣ, названной „Грѣхъ“, на которой въ зеркальной глади болотца плаваютъ чудовищные цвѣты—какіе-то пузыри одуванчиковъ, а между ними и внутри пузырей плаваютъ блѣдныя женскія и мужскія тѣла, явно отравленные цвѣтами. То же впечатлѣніе тонкой, паутинной, облѣпляющей и обезсиливаетъ ядовитости оставляютъ и большіе парижскіе магазины. Это—огромныя и свѣтлыя оранжереи, съ водяными стѣнками оконъ и зеркалъ. Попадая туда, ясно чувствуешь себя, какъ въ аквариумѣ. Въ зеркалахъ безшумно плаваютъ толпы дамъ и мужчинъ и безъ усилій всплываютъ наверхъ на мягкихъ лифтахъ и самодвижущихся коврахъ. Но съ непривычки дышится трудно. Кажется, еще немного и всплывешь наверхъ трупомъ. И начинаешь безцѣльно метаться по подводному царству, ища воздуха. Видишь, какъ блѣдныя лица присасываются къ одуванчикамъ шляпъ; какъ сотни паръ рукъ погружаются по локоть въ взбитую пѣну кофточекъ и платочковъ, и выскакиваешь на улицу блѣдный, отравленный, съ дрожащими ногами и сладкимъ вкусомъ во рту. И потомъ всюду чудится эта отравка.

Охъ, какъ душно въ Тулузѣ... Изъ сѣрой пыли потягиваетъ іодоформомъ и вѣетъ духомъ германскихъ студенческихъ бойнь.

На этихъ бойняхъ стоитъ духота пива, табачнаго дыма, іодоформа и крови. На разныхъ концахъ зала, какъ водолазовъ, одѣваютъ къ

¹⁾ Убиство эрцгерцога Фердинанда.

бойнѣ двухъ молодыхъ мясниковъ и ведутъ подь руки къ канатному коврику. Пелѣные, беспомощные, неуклюжіе стоятъ другъ противъ друга два ватныхъ култына, въ желѣзныхъ очкахъ, но съ голыми черепами и, по командѣ, начинаютъ блестять лезвіями. Два-три взблеска клинковъ, и бойцовъ останавливаютъ; ассистенты поддерживаютъ на вѣсу не опускающіяся за все время боя ватныя руки, и тутъ замѣчаешь, что по розовымъ черепамъ уже набухаютъ и растекаются кровавыя дуги. Подходить докторъ въ бѣломъ халатѣ для дезинфекціи палашей, и часто случается, что вмѣстѣ съ кровью снимаетъ съ лезвій въ ведро и кусочки носовъ. Потомъ снова — мгновенные взблески лезвій надъ голыми черепамъ, и опять дезинфекція. Такъ повторяется, покуда черепа не превратятся въ красныя яички въ култынахъ. Тогда водолазовъ сажаютъ на стулья и утираютъ имъ носы, рты и глаза, залиппше кровью. Черезъ минуту ихъ опять поднимаютъ и сводятъ. И пока двое кровавятся, уже облачаютъ новую пару. Такъ въ тупомъ однообразіи, въ духотѣ пива, табачнаго дыма, іодоформа и крови на коврикѣ, превратившемся въ красную и мокрую тряпку, смѣняется иной разъ паръ до двѣнадцати. Какъ-то я спросилъ у одного изъ участниковъ этой игры въ бойню: въ чемъ ея прелесть? Въ томъ,— объяснилъ онъ,—что она дѣлаетъ крѣпкими нервы. Видно, и быкамъ не чужда забота объ укрѣпленіи нервовъ...

Какъ душно въ Тулузѣ... Несется ураганъ пыли, кровавьясь по яркимъ афишамъ, возвѣщающимъ о боѣ быковъ. Стадо быковъ идетъ испытать крѣпость нервовъ... Духота бойни—къ духотѣ галантерейнаго шика, чтобы, столкнувшись, произвести грозу. Какую: Божью или дьяволу? Во всякомъ случаѣ — неизбѣжную, вызванную всюду скопившейся духотой.

Весь день въ облакахъ пыли громыхали военныя фуры, и на мѣшкахъ съ мукой трислись красныя кѣпи. На окраинномъ бульварѣ съ клубящимися эвкалиптами случилось мнѣ заглянуть въ ворота обширнаго плаца: и тамъ повозки, кѣпи, зарядные ящики... Готовятся. Непредотвратимое надвигается и гонитъ передъ собой шелуху, бумажки, облака пыли и всѣхъ вообще путешественниковъ вродѣ насъ. Бѣгутъ даже гигантскіе эвкалипты. И мы поняли, что мы — бѣженцы и подхвачены вихремъ. Вечеромъ въ тотъ же день, безцѣльно покрутившись въ Тулузѣ, мы уже неслись въ вихрѣ подушекъ и чемодановъ по тулузскому дебаркадеру. Тѣла слились въ кашу, изъ которой выглядывали только головы...

Перерывъ среди ночи.

Съ тѣхъ поръ надолго началась для насъ, да и для многихъ, жизнь въ постоянныхъ осязательныхъ ощущеніяхъ: въ надавливаніи мягкомъ

и твердомъ, въ сплющеніи, въ вышираніи... И это не только не тяготило, но радовало, потому что въ этомъ, какъ во многомъ тогда, предчувствовался переворотъ всѣхъ отношеній. Жили въ отдѣльности, всегда стремились оставить кругомъ себя свободное, т.-е. пустое пространство, во всемъ боялись сплошности, стѣсненія, тѣсноты. А между тѣмъ въ тѣснотѣ рождаемся, въ тѣснотѣ молимся и въ тѣснотѣ умираемъ. Тѣсно—въ гнѣздѣ. Жить въ тѣснотѣ—значитъ жить въ гнѣздѣ и въ теплотѣ. „Индивидуализмъ“, „эмансипація личности“—не что иное, какъ сознательное разореніе гнѣздъ, которое и безъ того уже шло и привело насъ къ безгнѣздному существованію. Гнѣздомъ, пожалуй, живутъ еще въ нашихъ избахъ, каждая изъ которыхъ есть маленький Ноевъ ковчегъ, гдѣ подъ одной кровлей плыветъ вся Божья тварь. Да и сами избы со всѣмъ содержимымъ—со скотомъ и съ горшками—сливаются со всѣмъ, что подъ кровлей неба, въ одно большое гнѣздо—въ Божій міръ. Мы же перестали жаться и охладѣли... Теперь опять, охваченные событіями, тѣснимся и жмемся. Вотъ и въ купѣ мы слиплись въ гнѣздо.

Ко мнѣ примыкаетъ молодой человекъ въ парусинномъ пальто и съ грустнымъ лицомъ. Съ нимъ рядомъ—его жена, худенькая, некрасивая женщина. Всѣмъ уже извѣстна ихъ грустная повѣсть. Они изъ Алжира, гдѣ оба преподають въ низшей школѣ. Давно уже они задумали на два мѣсяца вырваться изъ жары и побывать во Франціи, пожить въ прохладной Швейцаріи. Мечтали, высчитывали, копили деньги. Наконецъ, мечта ихъ осуществляется—начальство даетъ отпускъ, деньги накоплены, они садятся на пароходъ... Три дня тому назадъ они сѣли на пароходъ и вотъ уже ѣдутъ обратно въ Алжиръ: внезапно всѣ отпуска прекратились, и вотъ они должны ѣхать на мѣсто службы.

— Но вѣдь мобилизація еще нѣтъ,—пробують ихъ утѣшать,—можетъ быть, и не будетъ, васъ отпустить, и вы сможете продолжать ваше путешествіе.

— Нѣтъ, говорятъ, для насъ теперь уже все пропало... если бы даже мобилизація не было, намъ все равно нехватило бы средствъ на второе путешествіе изъ Алжира. А вѣдь какъ готовились, какъ ждали...

— Знаете, и съ нами случилось мѣчто подобное,—и мы показываемъ опечаленной парѣ наши неиспользованные круговые билеты. Мнѣ хотѣлось еще сказать имъ въ сомнительное утѣшеніе: „У насъ есть поэтъ Пушкинъ. Этотъ Пушкинъ въ одной изъ своихъ поэмъ показалъ, какъ Мѣдный Всадникъ плющить маленькое личное счастье. Мѣдный Всадникъ—это величественный ходъ исторіи. Такъ вотъ и ваше маленькое счастье, въ которое вы вложили столько труда и надеждъ, попало подъ копыта Мѣднаго Всадника. И сколько такихъ счастлихъ будетъ потоптано! Но хуже всего то, что мы не знаемъ, кто этотъ всадникъ“...

Въ прекрасной Каркасонѣ въ нашъ переполненный поѣздъ вдавлялась новая толпа и принесла къ намъ въ отдѣленіе извѣстную петроградскую художницу О. Л. и ея мужа,—химика, такихъ же бѣженцевъ, какъ и мы. Пожавшись и потѣснившись, выдавили и имъ мѣсто.

— Представьте, говорятъ, хозяинъ гостиницы въ Каркасонѣ не взялъ съ насъ платы—сто франковъ. „Вамъ,—говорить,—теперь самимъ нужны деньги, послѣ пришлете“. Страшно нужны, но вѣдь онъ насъ не знаетъ, а вѣрить, рискуеть.

Да, если ужъ содержатели гостиницъ не берутъ денегъ, значить, дѣйствительно, наступаетъ переворотъ всего. Художница—полна нѣжной, сдержанной деликатностью, способностью прикасаться безъ боли къ самой чувствительной ранѣ. У ея мужа—постоянная усталость въ глазахъ, должно быть, отъ химіи, отъ постоянного наблюденія. Они только что изъ Испаніи и ѣдутъ въ Ліонъ. Въ то время всѣ русскіе бѣженцы уже раздѣлились на два спорящихъ лагеря: одни стояли за возвращеніе на родину сѣвернымъ путемъ, черезъ Англию, другіе — южнымъ, черезъ Константинополь. Съ самаго начала мы были сторонниками южнаго тракта и стали доказывать Л. его преимущества. Л. и рады были бы послѣдовать съ нами въ Марсель, но вспомнили, что всѣ ихъ вещи оставлены въ мѣстечкѣ близъ Ліона, гдѣ они жили.

— Ну, что тамъ вещи... Вещи можно оставить.

— Да... но... видите ли, у насъ не одиѣ вещи,—тамъ еще и семья...

— Ваша семья?

— Нѣтъ, знакомая намъ семья... Знаете, музыкальнаго критика К. Понимаете, ни франка у нихъ. Мы ужъ съ ними вмѣстѣ какъ-нибудь будемъ выпутываться...

Въ вечеряющихъ окнахъ отъ самой Тулузы тянулась унылая, спаленная солнцемъ, равнина, которая вызвала во мнѣ воспоминаніе о горахъ — объ одномъ восхожденіи въ Пиренеяхъ. На тропинкѣ, среди камней, сосенъ и розовыхъ рододендроновъ, мнѣ встрѣтилась мулица съ жеребенкомъ, который больше напоминалъ медвѣженка, потому что весь мохнатился космами запекшейся грязи; потомъ встрѣтилась банда чумазыхъ испанцевъ, съ туго закрученными въ платки головами, въ красныхъ поясахъ и съ грудой лохмотьевъ, вмѣсто плащей. Они не спускались, а какъ-то бросались внизъ съ кручъ. И уже больше никого не встрѣчалось. Вдругъ теплота сосенъ перешла въ прозрачную холодность, и открылось синее озеро, какъ бы влитое въ чашу, выдолбленную въ горахъ. Къ краямъ же чаши, съ которыхъ еще не совсѣмъ облупился перламутръ снѣга, по всему кругу синяго озера пригубились алые рододендроны...

Справа и слѣва вдоль полотна бѣгутъ шеренги обвѣтренныхъ деревьевъ, насаженныхъ для защиты поѣзда отъ мистрала. За деревьями

неустанно кружится пыльная равнина, подобная пеплу от потухшей зари. Уже закачались головы и поразъвались кое-гдѣ рты. Слышалось: Что это,—Сеттъ? И съ испугу носы начинали шарить по черному отъ ночи стеклу.

— Нѣтъ, еще далеко до Сетта, это такъ что-то остановились.

И носы вновь гдѣ запрокидывались, а гдѣ никли. Одинъ лишь алжирскій учитель сидитъ прямо, со стиснутымъ ртомъ, хотя весь вагонъ давно погрузился въ тѣло, въ сонѣніе, въ кряхтѣніе и въ изнеможеніе ногъ.

.....

Что это? Что такое? Станція? За окномъ, въ свѣтъ платформы проплыла шеренга бѣлыхъ мѣшковатыхъ солдатиковъ подъ красной полскою кэпи, потомъ разношاپочная толпа, но не толкотливая, какъ обычно, а стоячая и со спокойно опущенными руками. Въ этихъ спокойно повисшихъ рукахъ еще не остыла брошенная работа и чувствовался какой-то торжественный перерывъ жизни, наступившій вдругъ среди ночи. Случилось что-то подобное тому, будто архангелъ протрубилъ среди ночи, и всѣ сразу оставили то, отъ чего, казалось, ни подъ какимъ видомъ нельзя было отстать, и явились на судъ съ свободно опущенными руками. На вокзальной стѣнѣ подъ фонаремъ освѣщались два скрещенныхъ флага на бѣлой афишѣ. Нельзя было разобрать, что написано на афишѣ, но какъ-то само собой и всѣмъ сразу понялось, что эти флаги, освѣщенные фонаремъ, эта ожидающая толпа на платформѣ, эти кэпи и то, что о нашемъ поѣздѣ какъ-то забыли,—это и есть мобилизація. И всѣмъ стало легче. Многія заботы и сожалѣнія стали слабнуть, а то, къ чему онѣ привязывали, начало удаляться. Даже алжирскій учитель повеселѣлъ,—видно отвязался отъ думъ о неудавшемся путешествіи. Насталъ грозный праздникъ, вѣдь и страшный судъ—праздникамъ праздникъ, т.-е. глубочайшее освобожденіе отъ дѣлъ и полная потеря вкуса къ дѣламъ. Подобное же праздничное состояніе охватило всѣхъ и тогда, настолько глубоко, что казалось невозможнымъ снова когда-нибудь вернуться къ дѣламъ. Исчезла погруженность въ тѣло, исчезла сонливость, и ночь наполнилась разговорами и возбужденнымъ ожиданіемъ грядущаго дня.

З а р я .

Быстро потекла ночь въ спорѣ съ химикомъ о томъ, изъ кого можетъ получиться лучший солдатъ: изъ высоко-интеллигентнаго, но мало выносливаго европейца или изъ мало интеллигентнаго, но долготерпѣливаго русскаго мужика.

— Я самъ былъ прапорщикомъ,—кипѣлъ химикъ,—я знаю, какъ трудно изъ дикаря сдѣлать солдата...

— Позвольте, при чемъ тутъ дикарь... Современная Россія относится къ Западной Европѣ приблизительно такъ же, какъ древняя Македонія—къ эллинству...

— Ну, я противъ историческихъ аналогій...

— Позвольте, т.-е. какъ крестьянство къ мѣщанству... Помимо столкновений всѣхъ прочихъ „началь“, эта война будетъ также столкновениемъ крестьянина съ горожаниномъ. А горожанинъ и крестьянинъ—это не то же самое, что культура и некультурность: это два разныхъ типа культуры. И вопросъ, который изъ нихъ сильнѣй...

— Ну, хорошо. Пусть будетъ наша провинціальная глушь съ сѣмечками и бурьяномъ—своеобразнымъ типомъ культуры. Не это нужно теперь государству, нужна интеллигентность и хотя бы элементарная государственная сознательность, которыхъ у насъ нѣтъ.

— За „сознательность“ и „интеллигентность“ не ручаюсь, но, несомнѣнно, государственной мудростью русскій народъ обладаетъ въ степени очень замѣтной. Негосударственность русскаго народа такой же предразсудокъ, выдуманный нѣмцемъ, какъ его „некультурность“. „Славянская, мечтательная натура, неспособная къ государственной жизни“, это немногимъ лучше „развѣсистой клюквы“.

— Развѣ „Нестеровская Русь“ только „развѣсистая клюква“?—вмѣшалась художница.

— Конечно, нѣтъ, какъ и „клюква“ не миѣ, но только, дѣлаясь развѣсистой, превращается въ миѣ. Такъ и мечтательность нашихъ зорь, нашихъ березокъ не должна завѣшивать крѣпость ствола.

— Гдѣ вы видите эту крѣпость? И откуда было ей взяться—отъ водки?

— Нѣтъ, отъ „честной вдовы Амелы Тимоѣевны“.

— Это—которая брала Васеньку Буслаева за „ручки бѣлыя“ и сажала въ „погребѣ глубокіе“?

— Да, мать Буслаева и многихъ другихъ богатырей, вообще мать всего богатырства, „мать сыра земля“, отъ которой и Илья Муромецъ получилъ силу...

— Крутая женщина...

— Въ томъ-то и дѣло...

— Но, если не ошибаюсь, ея „чада милыя“ сильно заподозрѣны въ реальности существованія?

— Опять-таки, они—типы, не говоря о томъ, что въ иныхъ изъ нихъ есть черты историческихъ лицъ. Но и помимо нихъ у Амелы Тимоѣевны есть чада и среди вполне историческихъ лицъ: Андрей Боголюбскій, Романъ и Даниилъ Галицкіе, Іоаннъ III, Василий III, Никонъ, царевна Софья, наконецъ, Петръ Великій—все это натуры, никогда не переводившіяся на Руси и выражающія русскую національность не менѣе,

чѣмъ безкровныя отроки и смуглыя странницы. И они-то и ссть крѣпость и стволь, вскормленный Амелеей Тимооеевной, и силищи необычайной...

— Да, но и необычайной нелѣпости и нескладности...

— И слава Богу. Мы до того воспитаны на стриженныхъ газонахъ и клумбочкахъ, что вотъ эта силища и нескладность ствѣла насъ пугала, и мы просто отрицали ее такъ же, какъ отрицали все страшное— адъ, дьявола, и даже въ этомъ отрицаніи, плодѣ страха, видѣли проявленіе какого-то мужества. Но кряковистый дубъ—неизбѣжно нескладенъ. „Стоитъ дубъ стародубъ, на томъ дубѣ стародубѣ сидитъ птица веретеница; никто ее не поймаетъ: ни царь, ни царица, ни красна дѣвица“.

— Что это,—загадка?

— Да, и озпачаетъ она—вселенную, небеса съ солнцемъ и съ зорями.

— А еще что? Русское царствіе-государствіе?

— Именно. И замѣтите, въ этомъ же дубѣ ютится и Русь молящаяся, мечтательная, въ величайшей силѣ—величайшая нѣжность. Стоитъ дубъ, міровое дерево, а въ его кронѣ—райскія птицы.

— Т.-е. кликуши?

— Да, и явленныя иконы и зори... Передъ этимъ дубомъ германское государство всего только—„горшочекъ герани“. И отъ недостаточности природной мощи—эти потуги на грандіозность. Нѣмцы помѣшаны на грандіозности и, чтобы ее достигнуть, лѣзутъ изъ кожи вонъ. Вамъ случалось бывать въ лѣтней резиденціи германскихъ императоровъ, въ Вильгельмсхѳе? Они видѣли Версаль, Петергофъ и сдѣлали презрительную гримасу: это, моль, что—фонтаны, мы у себя заведемъ Ниагару! И, дѣйствительно, соорудили—цѣлую гору изъ туфа и дикаго камня и разъ въ годъ пускаютъ по ней водопадъ, съэкономленный отъ мытья посуды и отъ поливки. И такъ во всемъ: если памятникъ—такъ не ниже фабричной трубы, если театръ—такъ съ тысячной толпой участниковъ... Отъ всего нѣмецкаго должно непремѣнно вѣять силой и крѣпостью: канцлеръ—желѣзный, кресты—желѣзные, гранитныя колонны въ петербургскомъ германскомъ посольствѣ и тѣ забраны желѣзной рѣшеткой... Все нѣмецкое—величественно, хотя и аккуратно. И вотъ тутъ-то—загвоздка. Развѣ можетъ быть величіе аккуратнымъ? Если нѣмцы отказываются отъ аккуратности, то сейчасъ же впадаютъ въ грубость. Но они не знаютъ граціозной *небрежности силы*.

— Т.-е. топорной работы?

— Прекрасное выраженіе. Да, Русь сработана топоромъ, и потому во всѣхъ ея издѣляхъ отъ деревянной лошадки до каменной церкви—обаяніе силы слилось съ обаяніемъ прелести.

— А по-моему тутъ одна пеказистость. Я такъ думаю, что культура только и начинается съ аккуратности. И чѣмъ меньше ея, тѣмъ больше

природы, стихии и меньше—культуры. И чѣмъ древнѣе культура, тѣмъ она и аккуратнѣй, такъ сказать, ювелирнѣй. Примѣромъ тому служатъ великія восточныя культуры Индіи, Китая, Японіи. Такъ что, я думаю, топорность нашей культуры свидѣтельствуешь только объ ея эмбриональности. Развитие этого эмбриона и выразится въ томъ, что онъ будетъ становиться все „аккуратнѣй“. Такъ въ природѣ, такъ и въ жизни народовъ. Но все это, конечно, спорно. Гораздо легче судить о способностяхъ народа къ государственной жизни. Ихъ плоды у всѣхъ на виду, и оцѣнки этихъ плодовъ гораздо опредѣленнѣй и проще. Тутъ рѣчь идетъ не о томъ, величественно или грубо, небрежно или неряшливо, а о томъ, полезно или вредно, удобно или неудобно. Крѣпкіе и крутые правители, вродѣ перечисленныхъ вами, вездѣ были, въ особенности въ старину, и въ нихъ нельзя видѣть привилегіи русской націи. Но въ чемъ вы видите „государственную мудрость“ не правителей, а народа? Дайте мнѣ тѣ факты, изъ которыхъ была бы видна „государственная мудрость“ русскаго мужика.

— Есть и факты. И самый разительный среди нихъ — Смутное время. Знаютъ о немъ всѣ, но оцѣненъ онъ немногими. Между тѣмъ, въ Смутное время произошло нѣчто почти сверхъестественное, въ чемъ невольно видишь промыслъ Божій. Подумайте: въ Москвѣ—поляки, подѣ Москвой—тушинцы, въ Новгородѣ—шведы, въ Смоленскѣ—самъ Сигизмундъ; правительства нѣтъ; бояре все кому-то присягаютъ: то королевичу, то Сигизмунду, то Вору, то всѣмъ заразъ. И хуже всего, что никто толкомъ не знаетъ, кто врагъ, а кто другъ, кого отражать, кого принимать. Нѣтъ даже единого церковнаго авторитета, которому слѣпо можно бы слѣдовать: въ лаврѣ возлагаютъ надежды на казаковъ, а Гермогенъ подозрѣваетъ въ нихъ тѣхъ же воровъ. Словомъ,—полный разбродъ не только власти, но и умовъ. И вдругъ началось „движеніе“. Не Богъ вѣсть какое—безшумное, лапотное. Лапотники вычегодскіе стали навѣдываться къ лапотникамъ вологодскимъ, а вологодскіе къ нижегородскимъ. И пошло это движеніе отъ „грамотокъ“, которыя разносились не телеграфомъ и даже не почтой, а, должно быть, котомкою, вмѣстѣ съ краюшкою хлѣба. И котомка собрала землю въ ополченіе, изумительной организаціи, которое не только справилось съ внѣшнимъ врагомъ, но и создало *заново* Московское государство. Какъ это могло случиться при тогдашнемъ бездорожѣ, при необъятныхъ пространствахъ, при рыхлости населенія и при общей „малокультурности“, это мнѣ всегда казалось чудомъ государственной крѣпости и народной государственной мудрости когда-либо и гдѣ-либо проявившейся.

— Ну, въ этомъ я вижу, какъ и вы говорите, больше „чуда“, „промысла Божія“, то-есть инстинкта, чѣмъ „мудрости“. Попробуйте расза-

дить муравейникъ, и онъ снова стянется, какъ кисель. И, наконецъ, то было въ XVII вѣкѣ. А теперь? Что будетъ теперь...

И химикъ, вдругъ какъ-то ослабнувъ, подперся о колѣни локтями. Глаза его снова заглядѣли усталостью. Я сталъ смотрѣть въ черное отъ дыма и ночи окно. Неслась по окну тьма, изрѣдка прерываемая клочьями свѣта. Заснули високъ къ виску алжирскіе учитель съ учительницею. Противъ меня, на колѣняхъ худенькаго и совсѣмъ задыхающагося человѣчка, отъ котораго остались лишь ноги да носъ съ глазомъ, сидѣла дѣвица и съ высоты бросала на насъ гнѣвные взгляды, оскорбленная нашимъ варварскимъ языкомъ и, очевидно, подозрѣвая въ насъ нѣмцевъ, хотя мы давно уже перестали спорить и смотрѣли: химикъ—въ полъ, я—въ окно. Неслась тьма съ клочьями свѣта, пока не потянулся свѣтъ лентами фонарей, и поѣздъ не подошелъ къ Тарасконѣ.

Дальше поѣздъ не шель. Насъ вывалили на какой-то темной и дальней платформѣ, гдѣ уже стояла, сидѣла и лежала толпа. Здѣсь мы разстались съ милыми Л. и здѣсь же узнали, что нашъ багажъ и не думалъ слѣдовать съ нами, а гдѣ-то застрялъ, гдѣ—неизвѣстно. Не оправдались и надежды на тарасконскій буфетъ. Въ нѣсколько минутъ, пока мы шли до него съ дальней платформы, буфетъ былъ дочиста съѣденъ. Въ пустомъ, но еще душномъ залѣ лежали на столикахъ искусанныя корки, развороченныя жестянки и прочіе свидѣтели разразившагося здѣсь саранчоваго аппетита. Немногіе оставшіеся гарсоны съ помощью поваренка уносили корзины опустошенныхъ бутылокъ, да буфетчикъ снималъ съ мокрой клеенки франки и су. Что можетъ быть печальнѣй зрѣлища съѣденнаго буфета?

Безъ багажа и голодные вернулись мы къ своимъ чемоданамъ. Подъ темной кровлей платформы отъ толпы остались лишь отдѣльныя кучки, казалось, всѣми забытыя и всему покорившіяся. Мнѣ вспомнилась почему-то хорошо знакомая въ дѣтствѣ картинка—„македонскіе бѣженцы“. Такъ же вотъ, какъ и здѣсь, на платформѣ сидѣли кучки съ дѣтьми и вещами, и я думалъ тогда, что „бѣженцы“—какая-то особая порода людей. Да, по правдѣ, и послѣ не переставало казаться, что „бѣженцы“ живутъ гдѣ-то въ Македоніи, вмѣстѣ съ „четниками“, а въ Европѣ они не встрѣчаются.

Уже начинало потягивать утреннимъ холодкомъ, а о насъ все не вспоминали и поѣзда не давали. Никто ничего толкомъ не зналъ. Одни говорили, что послѣдній поѣздъ уже ушелъ съ другой платформы, другіе—что поѣздъ будетъ, но не въ Марсель. Желѣзнодорожное начальство окончательно перестало нами интересоваться. Но ничего похожего на „протестъ“ это не возбуждало. На многихъ низошелъ тогда духъ смиренія и покорности. Всѣ наши пассажирскія „права“ какъ рукой

сняло. Было ясно, что если насъ повезутъ, то не изъ-за правъ, а изъ милости. Но отъ этого все стало какъ-то легче и человѣчнѣй. Являлось лишь смутное опасеніе, что не долго продлится это новое, это удивительное, это праздничное состояніе, и „права“ снова вступятъ въ свои права. Въ третьемъ часу ночи намъ удалось, наконецъ, быть выслушанными однимъ изъ служащихъ блузниковъ.

— Вы хотите ѣхать въ Марсель? Послѣдній поѣздъ въ Марсель сейчасъ уходитъ, только не съ этой платформы, а вонъ съ той, которая виднѣется за той крышей. „Bon voyage, madame, бѣгите скорѣй“.

И самъ побѣжалъ, побѣжали и мы. Дѣйствительно, на одной изъ захолустныхъ платформъ, едва ли не товарной, стоялъ поѣздъ, уже до краевъ перегруженный людьми. Никакого служебнаго персонала кругомъ не было видно, и поѣздъ казался кораблемъ, которымъ завладѣла толпа, еще не рѣшившая, куда плыть.

— Вѣдь это въ Марсель?

— Въ Тулузу, въ Тулузу, садитесь, мѣста хватитъ для всѣхъ.

И хотя мѣста давно нехватало, чьи-то руки уже тянули нашъ чемоданъ и картонки сквозь ноги и туловища. Но тогда нарушились всѣ законы, и канатъ проходилъ сквозь игольные уши. И, дѣйствительно, намъ нашлось мѣсто въ проходѣ на чемоданахъ. Гостеприимно принятые на „корабль“, мы могли только смущенно замѣтить, что собственно намъ бы надо въ Марсель...

— Въ Марсель и поѣдете,—раздались голоса.

Къ нашему удивленію при этомъ извѣсти тотъ, кто любезно успокоилъ насъ, что этотъ поѣздъ идетъ въ Тулузу, спокойно продолжалъ сидѣть на ручкѣ дивана. Это былъ черный сильно рябой человѣкъ, необычайно подвижной и говорливый, словомъ—скворецъ.

— Я такъ и зналъ,—кричалъ онъ черезъ минуту,—что вы русскіе. Но если-бъ вы были нѣмцы, вы думаете, вы сидѣли бы тутъ? Я бы васъ вышвырнулъ за окно, клянусь вамъ. Мы зададимъ этимъ нѣмцамъ тамъ, на поляхъ. Мы искрошимъ ихъ...

И черные масляные глаза его свирѣпо вращались.

Между тѣмъ, нашъ „корабль“ тронулся въ путь.

— Вы въ первый разъ въ этой странѣ?—вѣжливо приподнявъ соломенную шляпу, обратился къ намъ высокій и худой человѣкъ съ сѣрымъ и неопредѣленнымъ лицомъ, сидѣвшій, какъ и мы, на полу.— Прекрасная страна!

И онъ мечтательно и загадочно посмотрѣлъ на пыльную равнину съ клочками деревьевъ, уже сѣрѣющую въ предутреннемъ свѣтѣ.

— Скоро начнутся оливки,—продолжалъ онъ все съ той же мечтательной задумчивостью въ глазахъ и въ улыбкѣ,—вотъ увидите, я скажу вамъ, когда будутъ оливки...

— А вы изъ Прованса?

— Нѣтъ, я изъ Парижа, ѣду въ свой полкъ, въ Алжиръ. Но я хорошо знаю эту страну. Прекрасная страна!

— Мы имъ покажемъ, мы зададимъ имъ,—трещаль все скворецъ, уже охрипшій и съ блѣднымъ лицомъ, на которомъ вращались маслины.

— И вообще вся Франція—прекраснѣйшая страна!—не обращая вниманія на скворца, развиваль свои мечтанія человекъ съ сѣрымъ лицомъ.

— Мы покажемъ и итальянцамъ!—не унимался скворецъ.—Ахъ, эти макароны! Съ нами плохо шутить, съ нами, съ марсельцами.

— Вы ѣдете въ Марсель?—обратился онъ къ намъ.—И, клянусь, хорошо дѣлаете. Вы увидите нашихъ марсельцевъ. Ахъ, какой это городъ!

— Но найдемъ ли мы тамъ пароходъ?

— Сколько угодно. Сегодня и завтра идутъ пароходы въ Россію. Я-то ужъ знаю Марсель. Конечно, если вы первый разъ въ городъ, вамъ можетъ быть трудно. Но я все вамъ устрою. На меня вы можете положиться. Я покажу вамъ хорошій отель.

— Намъ бы прямо на пароходъ...

— Успѣете и на пароходъ. Пароходы, говорю вамъ, идутъ каждый день. Потомъ я покажу вамъ Марсель и сведу васъ въ одинъ знакомый мнѣ ресторанъ.

— Нѣтъ, я знаю въ Марселѣ другой ресторанъ,—въ невозмутимой мечтательности проговорилъ человекъ съ сѣрымъ лицомъ.

— Никто не знаетъ лучше меня ресторановъ въ Марселѣ,—взорвался марседецъ и затарашилъ глазами на выскочку изъ Парижа.

Но человекъ съ сѣрымъ лицомъ уже забылъ о марсельцѣ.

— Прекрасный ресторанъ, прекрасный ресторанъ,—повторилъ онъ въ блаженной задумчивости.

И вдругъ, отогнавъ табачный дымъ отъ лица, сталъ внимательно и серьезно всматриваться въ окно и, различивъ что-то, такъ и рванулся къ окну.

— Смотрите, смотрите,—заговорилъ онъ испуганно,—вы видите эти деревья? Это—оливки...

И правда, въ лощинѣ трепались вѣтромъ нѣсколько чахлахъ и запыленныхъ деревьевъ.

— Вотъ это и есть оливки. Но, погодите, это только начало. Мы увидимъ ихъ цѣлыя рощи. Да, прекрасная страна!

Но я самъ покажу вамъ мой ресторанъ,—надрывался марседецъ.—Я помогу вамъ сойти. А, чортъ! Я сведу васъ прямо въ отель на улицѣ Каннебьеръ. А, чортъ! Клянусь, вы увидите...

— Прекрасная страна, прекрасная страна...

Между тѣмъ, не одно лицо нашего мечтательнаго сосѣда, а и всѣ

лица отъ бессонной ночи, отъ пыли и отъ превосходнаго свѣта стали сѣрыми, и вдругъ сразу преобразились. Зазолотились и сѣрые, песчаниковые холмы съ клочками зелени. Въ блѣдномъ небѣ разлился лимонно-желтый и розовый свѣтъ...

...Отворились царскія двери. Ангелы Господни поставили золотую чашу на гору и держатъ розовый платъ для утиранія губъ. И къ краямъ чаши пригубились алые рододендроны... И сладко, и жутко...

— Смотрите, смотрите,—испуганно заторопилъ насъ сосѣдъ,—вы видите тамъ, между холмами? Видите?

— Что? Опять оливки?

— Нѣтъ, голубую полоску. Это—Средиземное море. Прекраснѣйшая страна!

И, дѣйствительно, за желтыми камнями песчаника едва-едва голубѣла блѣдная морская полоска. Мы подъѣзжали къ Марселю.

Д. Болдыревъ.

Движеніе и символъ.

Философія Бергсона прежде всего требуетъ отказа отъ всякихъ неподвижностей. Если въ нашей повседневной жизни весь міръ да и наши собственныя мысли сомкнуты въ неподвижности, то это только листья, плавающіе на поверхности воды, жировыя пятна на ней. Опуститесь на дно души, овладѣйте своимъ глубиннымъ переживаніемъ, и вы войдете въ нѣкое движеніе, которое есть творческій порывъ или дыханіе самой жизни. Неподвижность—это полезность, созданная корыстолюбивымъ духомъ. Духъ, создавая неподвижную матерію или конструируя свою мысль геометрически по образу и подобию имъ же созданной матеріи, творитъ нѣчто противоположное себѣ; самъ онъ есть движеніе и измѣнчивость, творитъ же неподвижность. Усвойте эту точку зрѣнія, вы должны будете дать самую печальную оцѣнку всей человѣческой культуры. Духъ живетъ въ движеніи и умираетъ въ неподвижномъ—этотъ смыслъ бергсоновской философіи—осужденіемъ всей культуры, по крайней мѣрѣ, поскольку она отразила себя въ неподвижныхъ памятникахъ, очерченныхъ идеалахъ, незыблемыхъ истинахъ, поскольку она строила, желала и мыслила. Придется признать, что мы все время жили ложной, поверхностной жизнью. Придется расколоть всю дѣйствительность на два міра: одинъ въ движеніи; въ немъ духъ, жизнь; другой въ неподвижности; онъ полезенъ, но мертвъ. Оба міра не могутъ взаимодействовать другъ друга, какъ не можетъ живой разговаривать съ мертвымъ. И вотъ сомнѣніе въ правильности бергсоновской философіи отъ того и начинается, что въ своемъ глубинномъ переживаніи мы слышимъ, какъ разговариваетъ живой съ якобы мертвымъ, какъ движеніе проникаетъ неподвижность и наоборотъ. Цѣлый рядъ фактовъ этой категоріи совершенно необъяснимы съ точки зрѣнія Бергсона. Въ неподвижномъ нѣтъ духа,—говоритъ Бергсонъ.—Чтобы познать себя, духъ долженъ сосредоточиться на движеніи. Но какъ же художникъ въ глубочайшія минуты своей жизни, минуты творческаго движенія успокаивается на неподвижныхъ пластическихъ образахъ? Далѣе, какъ этотъ неподвижный образъ порождаетъ въ другой, душѣ кипучую энергію движенія?

Какъ, слѣдовательно, совершается переходъ движущагося въ неподвижное и снова въ движеніе съ сохраненіемъ все той же энергіи? Свою посредническую миссію между художникомъ и другимъ человѣкомъ неподвижный образъ выполняетъ не тѣмъ, конечно, что онъ условно обозначаетъ опредѣленные чувства и дѣлаетъ ихъ извѣстными другому. Бергсонъ самъ говоритъ: прекрасное *внушаетъ* чувства. Чтобы внушить какую-нибудь идею, нужно ее имѣть. И значить въ неподвижномъ образѣ выражено то, что предносилось въ движеніи, не все, разумѣется, но самое существенное. И первый выводъ, который напрашивается само собой, заключается въ слѣдующемъ. Неправда, что духъ познаетъ себя только въ движеніи. Повидимому, уходящее, движущееся можетъ себя сохранить въ неподвижномъ, стать такимъ образомъ внятнымъ для всѣхъ. При этомъ дѣлается одна безспорная предпосылка, что самое главное изъ глубиннаго переживанія художника передано; предположите иное, и вы увидите, что вся работа искусства лишена смысла; вѣдь создаются здѣсь не полезности, а безкорыстные цѣнности, все назначеніе которыхъ выражать, рассказывать объ откровеніяхъ души. Если бы цѣль эта была не выполнена, человѣчество давно догадалось бы разбить свои мраморы и разорвать свои полотна. И нужно допустить, слѣдовательно, что духъ можетъ запечатлѣвать себя въ неподвижномъ, не искажая своей сущности, внятно рассказывая о ней. Внѣ спора выразительность художественнаго произведенія; на чемъ же она основана? Если духъ можетъ быть запечатлѣнъ въ неподвижномъ и если жизнь духа въ движеніи, то въ самомъ движеніи долженъ быть какой-то неподвижный составъ, нѣчто должно пребывать въ немъ. Говорятъ, что можно проникнуться настроеніемъ пирамидъ, говорятъ, что, проникаясь такимъ настроеніемъ, подходятъ къ самой душѣ Египта. Цѣлыя эпохи и даже культуры разгаданы и поняты, если уловленъ образъ, который предносился имъ, и это—не полезности, созданныя корыстолюбивымъ духомъ, а какъ разъ то, въ чемъ, повидимому, не должно быть никакой лжи, то, что духъ творить для себя и въ чемъ онъ себя познаетъ. Было бы софизмомъ отрицать, что религіозныя чаянія родились въ послѣднихъ глубинахъ души и вотъ этими чаяніями созданъ недвижный ликъ распятаго Христа и создана мечта о царствѣ Божьемъ, предѣлѣ всякаго движенія.

Раскрывая себя въ этихъ образахъ, духъ показываетъ себя прямо-таки коснымъ, тяготящимъ къ неподвижностямъ. И пусть сами по себѣ религіозныя чаянія полны движенія, неподвижное пребываетъ въ нихъ. Развѣ, далѣе, не кажется намъ та или другая національная психология закрѣпленной въ образѣ? Глубинное переживаніе индуса приносить ему неподвижность. Глубинное переживаніе философовъ, конечно, кипитъ энергіей движенія, но то, что предносится движенію, есть неподвижная

идея или образъ. Или, если въ глубинѣ своей души я переживаю истину, то я знаю, что она непреложна, неподвижна, никакимъ движеніемъ ненарушима. Я знаю, что $2 \times 2 = 4$, и это вѣчно. Теперь допустите, что Бергсонъ правъ. Вы должны будете объявить весь этотъ опытъ иллюзіей, вы должны объявить все вмѣстилище культуры несущественнымъ для духа, вы должны будете сказать, что мы жили неподлинной жизнью. Что же подлинно? Движеніе! Откуда мы знаемъ это? Это открывается намъ,—говоритъ Бергсонъ,—въ глубочайшемъ опытѣ. Но вотъ какъ разъ всѣ эти примѣры, которые относятся къ глубочайшему опыту, говорятъ о творческихъ или иныхъ порывахъ, т.-е. о движеніи, но говорятъ вмѣстѣ съ тѣмъ о пребывающей неподвижности. Конечно, человѣческій духъ—одно, а пирамида—другое. Какимъ образомъ духъ оказывается кристаллизованнымъ въ пирамидѣ, это вопросъ, требующій самаго глубокаго изслѣдованія, но врядъ ли можно отрицать эту способность духа къ кристаллизаціи, эту способность духа *жить въ символѣ*. Но еще къ одному выводу обязываетъ бергсоновская философія; она объявляетъ самое существованіе человѣческой личности иллюзіей. Войдите въ глубь своей личности,—учитъ Бергсонъ,—войдите въ нѣкій потокъ, и вы переживете творческое движеніе своей личности отъ ея прошлаго къ ея будущему. Это нѣсколько неточно. Что можетъ быть пережито при мгновенномъ погруженіи въ волну потока, сліяніи съ ней? Порывъ, устремленіе этой волны и проникающіе ее порывы и устремленія сзади идущихъ волнъ; все вмѣстѣ должно дать неоформленное, хаотическое чувство движенія. Волнѣ нельзя оглядываться назадъ, если она не слишкомъ поднимается надъ рѣкой, почти отдѣляясь отъ нея; поэтому она не знаетъ, идетъ ли рѣка, есть ли потокъ, есть ли она сама; ея дѣло—течь. Въ интуитивномъ переживаніи движенія, свободнаго отъ рефлексіи, не можетъ быть самооглядки, осознанія себя и тѣмъ паче осознанія себя, какъ формы. „Я“—уже нѣчто закрѣпляющее, нѣчто сковывающее чистое движеніе. А между тѣмъ глубинное переживаніе даетъ намъ свидѣтельство того, что человѣческое „я“ самоограниченно, что оно—форма; въ этихъ переживаніяхъ мы открываемъ свою личность даже не въ движеніяхъ ея потока, не въ ходѣ ея исторіи, а какъ бы въ минуту нѣкоторой остановки, съ какимъ-то опредѣленнымъ велѣніемъ въ душѣ, съ какимъ-то чувствомъ, что личность есть форма, что въ ней организованность. Отрицать, что такое переживаніе есть, и что оно исчерпываетъ глубокий моментъ души,—нельзя. Было бы очень нетрудно привести данныя подлиннаго опыта разныхъ людей въ величайшія минуты ихъ жизни. Изъ этихъ данныхъ вырисовалась бы картина осознанія себя, какъ формы. Но мнѣ кажется, что это лежитъ въ опытѣ каждого человѣка и достаточно только объ этомъ напомнить.

Одну цѣль имѣли всѣ эти разсужденія—пробудить недоумѣніе и недоумѣріе: не можетъ быть, чтобъ неподвижность была только результатомъ *рефлексіи*. Духъ людской запечатлѣваетъ себя въ неподвижностяхъ, будь то пирамида или истина, по нимъ онъ познаетъ себя и, наконецъ, себя осознаетъ, какъ форму. Между нашей личностью и неподвижнымъ міромъ есть глубочайшее сродство. И либо приходится говорить, что дурная рефлексія исказила душу даже въ самыхъ глубокихъ откровеніяхъ ея, и въ такомъ случаѣ подлинная душа никогда не становится доступной нашему переживанію, либо же вовсе отрицать или значительно ослабить приписываемое рефлексіи дурное вліяніе. Но и въ первомъ случаѣ подъ Бергсономъ колеблется фундаментъ; выводы его философіи не могутъ уже основываться на опытѣ глубиннаго переживанія, на интуиціи; подлинная душа вѣдь не откроется ему ни въ какомъ опытѣ, разъ всякій опытъ искаженъ.

Но если неподвижное удерживается, сохраняется въ душѣ, то на это нужно смотрѣть, какъ на результатъ извѣстной психической дѣятельности, ближе опредѣляя, какъ на результатъ работы памяти. Есть ли такая удерживающая память? Вотъ почему ученіе Бергсона о памяти получаетъ для всей его системы рѣшающее значеніе. Два вида памяти различаетъ Бергсонъ. Одна память—это память привычки, „она разыгрываетъ нашъ прошлый опытъ“, она удовлетворяетъ наши практическіе запросы, подсказывая намъ то или другое необходимое дѣйствіе, вызывая тотъ или другой образъ, напримѣръ, мѣсто, гдѣ виситъ ключъ. При этомъ совершенно безразлично, когда и въ какой связи я повѣсилъ ключъ, все теченіе моихъ переживаній.

Но историческій потокъ прошлаго, потокъ переживаній, по Бергсону, не исчезаетъ; онъ въ душѣ; мы можемъ его снова пережить. Другая память-греза и есть какъ разъ та память, которая удерживаетъ и располагаетъ въ душѣ наши состоянія такъ, какъ они шли. Первая память выполняетъ внѣшнюю функцію духа; каждый разъ она вспыхиваетъ на поверхности духа, чтобы мгновенной вспышкой указать то, что нужно практической жизни. Эта память—просто магнитная стрѣлка компаса. Вторая память—внутренняя, но она отмѣчена безразличіемъ; она не выдвигаетъ ничего, какъ особенно запоминающагося, не организуетъ нашего опыта; она удерживаетъ прошлое такъ, какъ оно шло. И вопросъ, который я сейчасъ ставлю, сводится къ тому, есть ли помимо этого память, организующая духъ изнутри и выдвигающая нѣкоторые, постоянно пребывающіе въ душѣ образы, какъ особенно запоминающіеся и дѣйственные. Эту работу памяти мы сейчасъ увидимъ.

Гипнотизеръ внушаетъ какому-нибудь субъекту, что тотъ старикъ. И мнимый старикъ начинаетъ по-стариковски волочить ногами, горбиться, онъ шамкаетъ, представляется глуховатымъ, слабымъ и т. д. Въ каждое

мгновение то или другое движение мнимаго старика можно было бы объяснить памятью-привычкой; субъектъ знает, видѣлъ или вычиталъ, какъ поступаютъ старики, но помимо этой работы памяти въ его душѣ идетъ и другая. Въдъ этотъ субъектъ—не старикъ; то, что онъ дѣлаетъ, является насиліемъ надъ собой; однако онъ это дѣлаетъ. Ему внушено, что онъ старикъ; онъ это помнитъ. Помнить для него—не значить вовсе имѣть опредѣленную мысль въ головѣ, но имѣть вѣлніе гипнотизера безсознательно въ душѣ, какъ стягивающее къ себѣ, организующее начало. Освободите субъекта отъ этого вѣлнія, вы сбросите его стариковское обличье. Нельзя было бы себѣ представить этотъ опытъ осуществленнымъ безъ внутренней, организующей работы памяти. Она не обращается къ частному, не вспыхиваетъ мгновениями, она не подсказываетъ: старики такъ-то и такъ-то видятъ, ходятъ и т. д., но она все время держитъ духъ въ опредѣленномъ состояніи; только она и обуславливаетъ частную работу памяти, даетъ послѣдней стимулъ. Можно было бы сказать, что во все время опыта въ душѣ субъекта скрыто, безсознательно пребывалъ образъ старика, дѣйствительный, руководившій поступками субъекта. На работѣ такой памяти основывается также дѣятельность актера. Пусть каждый разъ во время игры память-привычка подскажетъ ему тѣ или другіе жесты, нужна еще и другая работа памяти, которая, повторяю, держала бы его духъ въ опредѣленномъ состояніи. Директоръ приходитъ въ банкъ, и здѣсь онъ директоръ; и вотъ въ его директорскомъ кабинетѣ происходитъ отборъ опредѣленныхъ привычекъ; нажимая электрическій звонокъ, директоръ зоветъ курьера, а не лакея; онъ не подпишетъ письма, подъ которымъ нѣтъ штемпеля учрежденія, хотя дома подписываетъ и безъ этого. Тутъ происходитъ отборъ привычекъ, объясняемый организующей работой памяти. Не только при опредѣленной дѣятельности, но и при осуществленіи какой-либо цѣли произойдетъ отборъ привычекъ; все время за ними скрыто бодрствуетъ память о цѣли.

Юристъ, воспитавшій себя всю жизнь на правѣ, не только накопилъ запасъ знаній, надъ которымъ работаетъ память-привычка, и не только обладаетъ прошлымъ, которое оберегаетъ память-греза, онъ достигъ и другого. Въ его психикѣ выработались какія-то главныя линіи, принудительно управляющія его дѣйствіями. Мы говоримъ тогда: это чловѣкъ съ развитымъ правосознаніемъ. Развитое мышленіе математика имѣетъ въ своемъ основаніи нѣчто дѣйствительное, постоянно обязывающее, вырабатываются какія-то нормы, нарушение которыхъ такъ же болѣзненно отдается, какъ нарушение нормъ совѣсти. Иначе не могу, иначе нельзя—это уже голосъ не памяти-привычки, а нормирующей памяти. Память-привычка даетъ свой отвѣтъ легко, когда она можетъ дать только одинъ отвѣтъ. Во всѣхъ другихъ случаяхъ нужно искать

признаковъ работы нормирующей памяти. Эта память организуетъ самый духъ изнутри. Безъ нея, папримѣръ, совершенно непонятно было бы чувство ритма, чувство вѣчнаго возвращенія, вѣчнаго пребыванія; мы воспринимаемъ ритмъ не какой-то внѣшней способностью, а созвучно, согласно; мы чувствуемъ, знаемъ, что этотъ ритмъ въ насъ самихъ, что онъ—память о прошломъ и предопредѣленіе будущаго. И наша чуткость къ ритму—лучшее свидѣтельство, что духъ *помнитъ* изнутри, что память—не функція, а самая музыка души; въ этомъ ея метафизическое значеніе. Есть память внутренняя, бодрствующая, актуальная, непрерывно дѣйствующая, организующая отборъ нашихъ привычекъ. Слѣдовательно, есть неподвижный составъ души. И самое представленіе о личности создается другое, не бергсоновское. Личность—форма, а не идущій по прихоти истории потокъ. Но чтобы не остаться въ области болѣе или менѣе отвлеченныхъ положеній, представимъ эти мысли конкретно.

Вообразите, что кто-нибудь, стоя передъ Мадонной Рафаэля, испыталъ сильное потрясеніе. Въ первое мгновеніе его поразила, ударила по сердцу улыбка на устахъ Мадонны; и весь фонъ картины, ея симметрия, всѣ остальные лица только усилили это впечатлѣніе; все вокругъ этой улыбки. Въ душѣ зрителя, пока онъ стоялъ передъ картиной, шелъ процессъ; качественное измѣненіе,—сказалъ бы Бергсонъ; зритель открывалъ въ картинѣ разныя подробности и припоминалъ свое прошлое; прошлое казалось ему ошибкой; онъ какъ бы узнавалъ сейчасъ правду и убѣждался, что прожита жизнь не такъ, даромъ, что прошлое не существенно и случайно. Все больше отдаваясь очарованію открывшагося передъ нимъ міра, онъ, наконецъ, испыталъ второе рожденіе и отмеръ свое прошлое. Пусть само прошлое подготовило этотъ переворотъ, но подготовило не своимъ историческимъ потокомъ, не хронологической послѣдовательностью, а осмысленной переработкой, перестройкой опыта, переоцѣнкой его. Такое глубокое переживаніе, гдѣ совершается сознательный разрывъ съ исторіей, гдѣ душа вся проникается неподвижнымъ образомъ, гдѣ дыханіе замираетъ и исторія останавливается, должно быть объявлено иллюзіей съ точки зрѣнія Бергсона. Правда, въ душѣ все время шелъ процессъ, но развѣ этотъ процессъ—случайный бѣгъ ассоціацій? Не спаяно ли единство этого получаса, не создана ли цѣльность этого переживанія тѣмъ, что подъ видимымъ покровомъ мыслей и чувствъ пребывала свѣтлая улыбка Мадонны, *присутствовалъ образъ?* Присутствовалъ образъ, не бывалъ въ вихрѣ мѣнявшихся чувствованій; это фактъ неоспоримый, дѣлающій понятнымъ, осмысленнымъ душевный опытъ, но онъ клиномъ врѣзывается въ построенія Бергсона. Теперь вообразите, что этотъ зритель, пережившій свое второе рожденіе, вернулся отъ созерцанія къ дѣйствію. Онъ уже не думаетъ больше о

Мадоннѣ, но случившееся случилось, и улыбка пребываетъ въ его дунѣ. Тогда оказывается, что онъ поступаетъ сегодня иначе, чѣмъ вчера; тогда оказывается, что у этой улыбки есть *стиль*, который одно требуетъ, другое исключаетъ. Рафаэлевская улыбка одно приметъ, другое исключаетъ; улыбка Джюконды тоже; примкните къ одной или другой, у васъ будутъ разные должествованія. И оказывается, слѣдовательно, что та улыбка Мадонны, которую зритель воспринялъ, эта неподвижная, очерченная кистью улыбка, — является вмѣстилищемъ огромнаго живого содержанія. Изъ нея можно вывести „десять таблицъ законовъ“, опредѣленный бытъ, укладъ жизни. Все это имѣетъ источникомъ все ту же улыбку. Душа собрана въ ней; этотъ фактъ показываетъ, что душа изнутри *символична*. Символь, о которомъ Бергсонъ съ пренебреженіемъ говоритъ, что имъ духъ внѣшне организуетъ міръ, въ дѣйствительности двигаетъ самую душу. Горнаго жителя столько же воспитываютъ условія горной жизни, сколько вѣчный образъ горъ. Кто видѣлъ горы, знаетъ, что у нихъ есть своя логика, свой стиль. Когда я отхожу отъ какой-нибудь удивившей меня архитектурной постройки, у меня всегда чувство, что мнѣ навязывается опредѣленный образъ дѣйствія. У меня, современнаго человѣка, это преходяще и мимолетно, но болѣе стойкаго человѣка, видящаго всего одну архитектуру, на примѣръ, готику, эта готика дѣйствительно опредѣляетъ. Душа рождаетъ готику, и готика рождаетъ самую душу. Есть души, подчиненныя одному образу, на примѣръ, образу Христа, и нѣтъ надобности раскрывать священныя книги; самый образъ распятаго подскажетъ все должествованія. Образъ, опредѣляющій психику, часто ясенъ, но все же, всматриваясь въ духовную жизнь, мы откроемъ въ ней также работу памяти, не объясняемую уже какимъ-либо близкимъ осязаемымъ образомъ. Тогда мы говоримъ о сверхчувственномъ образѣ, и этимъ объясняется и узаконяется вѣчная работа метафизики. Эти пребывающіе въ душѣ образы могутъ быть совершенно различны по своему значенію и глубинѣ. Они начинаются съ сегодняшняго, кончаются внѣвременнымъ; они начинаются съ осязательнаго, кончаются сверхчувственнымъ. Человѣкъ, подчиненный множеству образовъ, — расщепленъ, двумъ — раздвоенъ, одному — цѣленъ. Но каковъ ни былъ бы характеръ этихъ пребывающихъ въ душѣ образовъ, они обязываютъ къ опредѣленному воззрѣнію на человѣческую личность. Познать духъ, — думаетъ Бергсонъ, — можно только въ его измѣненіи, въ его движеніи; но онъ забылъ, что есть нѣчто, пребывающее въ движеніи. Есть двойное познаніе духа. Одно — это пережить то, что совершается, двигаться вмѣстѣ съ движущимся, другое — выдѣлить неподвижный составъ въ движеніи, открыть символъ. Грубо говоря, первое познаніе показываетъ намъ движеніе колесъ парохода, разсѣкающихъ воду, второе ставитъ насъ на палубѣ парохода. Движеніе и неподвижность,

противопоставленные Бергсономъ, это—голыя схемы. Въ душѣ они слиты; въ движущемся нѣчто пребываетъ. И это нѣчто не есть сухое логическое тождество, а тождество діалектическое, способное къ развитію и самоотрицанію. И рафаэлевская улыбка въ душѣ не есть неподвижный контуръ, а живое образованіе, которое можетъ себя изжить, отвергнуть; улыбка ангела можетъ выродиться въ гримасу чорта.

Когда Бергсонъ въ своемъ психологическомъ анализѣ разныхъ чувствъ всячески подчеркиваетъ процессъ качественного измѣненія, онъ упускаетъ изъ виду это нѣчто пребывающее, и нетрудно его поправить. Это тѣмъ легче, что Бергсонъ самъ даетъ для этого всѣ средства.

„Въ чувство гнѣва,—замѣчаетъ Бергсонъ,—всегда войдетъ ни на что несводимый психическій элементъ, хотя бы это была только та идея удара или борьбы, о которой говоритъ Дарвинъ, идея, придающая столькимъ различнымъ движеніямъ общее направленіе“. Чувство гнѣва взято, какъ примѣръ. Куда же исчезла изъ философіи Бергсона эта пребывающая идея? Если цѣнность и смыслъ психологическаго явленія опредѣляются лежащей въ его основѣ идеей, образомъ, то расширьте эту правильную мысль Бергсона, и вы придете совершенно къ противоположному Бергсону взгляду на человѣчeskій духъ.

Если имѣть въ виду такое чувство, какъ любовь, то, конечно, въ своемъ процессѣ она представляетъ потокъ, качественное измѣненіе, но этимъ исчерпать ея сущность нельзя; она должна имѣть въ себѣ ту пребывающую идею, которая дѣлаетъ любовь любовью, а не страхомъ, гнѣвомъ или чѣмъ-нибудь другимъ, и она должна имѣть въ себѣ конкретный образъ любимаго, любимой, иначе цѣльная струя расплеснется. Любовь, это—процессъ движенія, но не простого движенія ассоціацій. Я подхожу къ двери, ожидаю,—у меня одно чувство; вхожу—другое; здороваюсь—третье. Но если что-либо дало единство этому переживанію, единство, вслѣдствіе котораго я говорю, что все время переживалъ любовную лихорадку,—то это образъ любимой дѣвушки; онъ пропиталъ меня всего. Если мои друзья открыли во мнѣ большую перемѣну, то я обязанъ этимъ тому, что во мнѣ живетъ образъ любимой. Ея улыбка смѣшалась съ моей собственной, и я уже не тотъ, что былъ вчера, и дѣлаю не то, что дѣлалъ вчера. Исключите изъ любви пребывающую идею, несводимый ни на что психическій элементъ, исключите еще и этотъ образъ дѣвушки, и распадется связь всѣхъ моихъ чувствованій, раздробится потокъ. Любовь потому такъ высоко поднята на пьедесталъ, что она раскрываетъ самую сокровенную метафизическую тоску невидящей души по видимому образу. Безъ творчества нѣтъ любви, и любящій на конкретной канвѣ создаетъ нужный его душѣ образъ. И то самопознаніе, которое совершается въ душѣ любящаго, тотъ удивляющій всѣхъ душевный ростъ, обостренная зоркость—проистекаютъ

отъ того, что полусонная раньше душа разглядѣла свой образъ, нашла *свой символъ*, въ этомъ образѣ она собрана, здѣсь вся ея психология, долженствованія; въ этомъ—метафизика любви.

Цѣль художника вовсе не ввести другого въ потокъ своего творческаго переживанія, гдѣ есть остановки сомнѣнія и горечь маловѣрія, а поставить передъ зрителемъ образъ. Значеніе образа, какъ всегда, значеніе символическое, какъ вмѣстилища нѣкой психологии. И въ этомъ смыслѣ можно утверждать: нѣтъ несимволическихъ художественныхъ произведеній. Конечно, этимъ символомъ художникъ вводитъ и въ свою душу, но не въ потокъ творчества, а въ неподвижный составъ души. Убѣдили ли эти примѣры? Они преслѣдовали одну задачу—приковать вниманіе къ неподвижному. Душа оказалась изнутри символичной, собранной въ образъ. Этотъ образъ—не мертвый контуръ, а живое образованіе, способное къ развитію, къ диалектикѣ и нормирующее нашу дѣятельность. Благодаря этимъ образамъ или идеямъ, существуютъ страхъ, любовь и гнѣвъ; благодаря имъ, существуютъ актеры и короли, старики и молодые. Ибо если внушаемая мнѣ идея, что я старикъ, вытѣсняетъ мою молодость, если образъ старика опредѣляетъ всѣ мои отдѣльныя, частныя проявленія, то нужно искать центра, которымъ онъ овладѣлъ, и предположить прежній образъ молодости, который онъ вытѣснилъ. Въ душѣ оказался неподвижный составъ.

II.

По Бергсону міръ есть творческій процессъ, вѣчное качественное измѣненіе. Наши застывшія пространственныя воспріятія міра ложны. Прочувствовать міръ въ его истинной сущности можно, только войдя въ самый потокъ міра, прочувствовавъ его движеніе. Въ какомъ же чловѣческомъ чувствѣ открывается намъ это движеніе? Въ чувствѣ времени, длительности. Почему? Да потому, что творческій процессъ міра—и есть процессъ времени, чистой длительности. Только время это взято не въ обыкновенномъ пониманіи, искаженномъ пространственными воззрѣніями. Бергсоновское время есть міровая *сила*, измѣнчивый, творческій процессъ. Міровой процессъ есть процессъ времени; онъ течетъ, какъ мелодія, и какъ льющіеся аккорды мелодіи взаимно проникаютъ другъ друга, такъ прошлое проникаетъ будущее.

Въ этомъ Бергсоновскомъ *одухотвореніи* времени чувствуется несомнѣнный фетишизмъ, но, главное, оно идетъ вразрѣзъ съ данными нашего опыта. Міръ есть время, чистая длительность. Время есть движеніе, вѣчное творческое измѣненіе. Гдѣ нѣтъ движенія, нѣтъ времени. Проверьте это. Идетъ дождь; монотонно ударяютъ о стекло капли, раздѣльно и явственно; я испытываю докучливое спокойствіе, но—увы!—никогда я еще такъ ясно не чувствовалъ теченія времени, длительно-

сти, какъ сейчасъ. То же самое въ докучливые часы вечера, когда я слышу стукъ часовъ. Время совершенно пропадаетъ для меня, когда въ моей душѣ много движенія. Можно даже утверждать, что чувство времени и длительности обратно пропорціонально движенію. Чувство времени связано съ однообразіемъ и повтореніями. Какъ субъективное переживание, время есть внутренняя ритмичность, это переживание можетъ быть сильнѣе или слабѣе, но отсутствовать у живого человѣка оно не можетъ, такъ какъ работа его органовъ осуществляется въ ритмѣ. Конечно, кромѣ субъективной, есть и объективная сторона, она имѣетъ въ виду объективный *смыслъ* переживаемаго чувства времени, но этотъ смыслъ конкретно неопредѣлимъ. Здѣсь можно провести аналогию съ понятіями, содержаніе которыхъ тоже конкретно неопредѣлимо.

Объективное время—абстрактная идея, *абстрактная длительность*. Существованіе такой идеи не большее чудо, чѣмъ существованіе идеи дерева, тоже абстрактной. Но Бергсонъ насильственно отождествилъ время съ творческимъ процессомъ и изобразилъ самый міръ, какъ чистую длительность. Я говорю: насильственно, и это видно по тѣмъ затрудненіямъ, которые встрѣтилъ Бергсонъ. Ему пришлось съ самаго начала объявить искусственнымъ существованіе неподвижностей, но неподвижности не создаются по прихоти и не мѣняются по произволу, въ мірѣ однѣ неподвижности сохраняютъ къ другимъ опредѣленные отношенія; измѣнить ихъ по произволу мы не можемъ. Гдѣ же взять критерій для установленія такихъ отношеній? Если изъ души,—мы приходимъ къ солипсизму; если изъ міра, изъ чистой длительности, то, значитъ, въ самой чистой длительности есть что-то подозрительное, какая-то возможность перехода къ неподвижности, такъ что чистая длительность перестаетъ быть таковою.

Затрудненія еще болѣе возрастаютъ, когда Бергсонъ подходит къ неорганическому міру. Нельзя вѣдь отдѣльные явленія неорганическаго міра отождествить съ чистой длительностью, потому что характернымъ здѣсь является какъ разъ постоянство, а не измѣнчивость. Самъ Бергсонъ признаетъ, что въ неорганическомъ мірѣ „настоящее заключаетъ не больше того, что было въ прошломъ, а въ дѣйствиіи содержится то, что было въ причинѣ“. И спасая положеніе вещей, Бергсонъ утверждаетъ, что весь неорганический міръ *въ цѣломъ* зато входитъ въ сферу длительности, представляетъ собой измѣнчивый потокъ. Но неорганический міръ въ цѣломъ это то, что мы не можемъ обнять никакой мыслью и никакимъ чувствомъ. Отдѣльные же явленія неорганическаго міра—внѣ измѣнчиваго процесса, внѣ длительности и вмѣстѣ съ тѣмъ внѣ реальности; онѣ иллюзорны. Создаются безвыходныя затрудненія. Констатируется полная непознаваемость неорганическаго міра, частей и цѣлаго. Дальше за частями и цѣлымъ признается различное существованіе.

Въ какомъ же отношеніи другъ къ другу части и цѣлое, если одно—ложь, другое—правда? И мыслимо ли какое-либо отношеніе между ними, если *постоянство* считается характернымъ для отдѣльныхъ явленій, а *измѣнчивость* для цѣлаго.

Но чистой длительности нѣтъ также и въ томъ мірѣ психики, гдѣ какъ будто ее увидѣлъ Бергсонъ. Нужно войти въ душевный потокъ,—говоритъ Бергсонъ; тамъ прошлое течетъ по своему историческому пути, однажды пережитому, но живому, дѣйствительному. Я долженъ какъ бы пережить обратное движеніе жизни, движеніе потока такъ, *какъ онъ шель*. Только это и было бы переживаніемъ чистой длительности. Возможно ли такое переживаніе? Въ любой моментъ моей жизни, какъ бы врасплохъ меня ни застigli, я всегда заинтересованъ въ чемъ-нибудь. И не перестроится ли мое прошлое по направленію моего теперешняго интереса? Такъ оно и есть. Невозможно пережить чистую длительность, творческій потокъ жизни, *какъ онъ шель*. Мы переживаемъ специфическій творческій процессъ, всегда на что-нибудь направленный—на рѣшеніе задачи, на разбой, на спасеніе. Интересовъ и направленій тысячи, и тысячу разныхъ потоковъ мы въ себѣ откроемъ, по все время это будетъ познаніе относительное, а не абсолютное познаніе чистой длительности, чего такъ хочетъ Бергсонъ.

И къ познанію души и къ познанію матеріи чистая длительность неприложима; здѣсь она неуловима; тамъ ея нѣтъ. Въ глазахъ Бергсона дѣло представляется такъ. Существуетъ теперь монистическая система знанія, всецѣло опредѣляемая духомъ неподвижности, духомъ геометріи; но это монизмъ ложный; истинное познаніе должно быть построено на одномъ переживаніи движенія. Какъ неправильна критика, такъ невѣрно и положительное утвержденіе Бергсона. Не на одной геометріи построена существующая система знаній, и не на одномъ движеніи можетъ основаться идеальное познаніе. Вѣрно то, что математическія науки, а въ частности геометрія, оказали огромное вліяніе на характеръ научнаго мышленія. Но однако покрыть всѣ свойства мысли свойствами пространства никогда не удастся; есть въ нашихъ сужденіяхъ несводимое къ пространству духовное начало. Есть переживаніе истинности, всеобщности, безусловности, необходимости, есть формальный составъ знанія и, кстати замѣтимъ, неподвижный. Это самостоятельнымъ началомъ входитъ въ познаніе. И это первое, что нарушаетъ мнимый монизмъ какъ существующей научной системы, такъ и бергсоновской теоріи знанія. Не менѣе существенно другое. Сплошь ли *геометрично* наше научное мышленіе? Точно ли, устанавливая, допустимъ, повторяемость явленій, мы проводимъ только геометрическое равенство между ними, какъ то думаетъ Бергсонъ? Если я кипячу воду на огнѣ всегда съ одинаковой увѣренностью, то потому, что знаю, что сегодня будетъ такъ, какъ

вчера. По Бергсону въ этой повторяемости торжествуетъ какъ бы законъ геометрическаго равенства: повторяется, потому что равно, я создаю однородности, которыя какъ бы равны другъ другу и при наложеніи совпадаютъ ребрами и гранями. Но будь это такъ, я никогда не имѣлъ бы кипяченой воды: въ застывшихъ, неподвижныхъ однородностяхъ нѣтъ кипяченія, нѣтъ дѣйствія, пропущенъ глаголь. Но именно этого глагола никогда не упускала изъ виду наука; глаголь выражалъ здѣсь измѣнчивость, длительность, желанную Бергсономъ психологичность. Постоянство дѣйствія, а не равенство фигуръ, имѣла въ виду наука. Наука говорила: тѣла отталкиваются, притягиваются, сжимаются, расширяются, переходятъ изъ одного состоянія въ другое. Такихъ глаголовъ было много, а прогрессъ состоялъ въ томъ, чтобы замѣнить всѣ ихъ однимъ (энергетическая теорія). Живая, а не измышленная научная система полна чувства измѣнчивости и дѣйствія. И это второй фактъ, показывающій, что „геометрическаго“ монизма въ нашей научной системѣ нѣтъ.

Научное сужденіе, напримѣръ, изъ механики, содержитъ, во-первыхъ, формальный элементъ, утвержденіе истинности чего-то, а, во-вторыхъ, по существу имѣетъ въ виду движеніе тѣлъ. Взамѣнъ такого сужденія Бергсонъ ставитъ переживаніе чистой длительности. Но чтобы оправдать эту замѣну, нужно было бы доказать: либо что элементы стараго сужденія мнимые, либо что они ассимилируются въ переживаніи чистой длительности. Но Бергсонъ вовсе игнорируетъ формальный элементъ, равно какъ и то представленіе о движеніи, которымъ живетъ наука, и лишь о существованіи тѣлъ Бергсонъ высказывается прямо и объявляетъ это существованіе мнимымъ. Но въ дѣйствительности Бергсону не удалось показать движенія безъ движущагося.

Когда Бергсонъ говоритъ, что неподвижности созданы рефлексіей ради нашего тѣла, ради пользы нашихъ дѣйствій, когда онъ строитъ такимъ образомъ свои гипотезы воспріятія, то заранѣе уже за всѣмъ этимъ притаилась одна нетронутая неподвижность: неподвижность ограниченаго человѣческаго тѣла; безъ нея не обойтись; она уже предполагается въ тотъ моментъ, когда ради нея создаются всѣ прочія неподвижности.

Преодолѣть матерію и механическій порядокъ Бергсону, слѣдовательно, не удалось. Дать систему движенія безъ движущагося Бергсонъ не сумѣлъ. Неподвижность осталась въ своей неприкосновенности. И когда жизнь дѣйствуетъ, передъ ней рядъ неподвижныхъ мишеней, все равно дѣйствительныхъ или мнимыхъ, созданныхъ интеллектомъ. Она дѣйствуетъ изъ-за неподвижности; съ этимъ связана вся тревога души, малыя и большія чувства, и этимъ опредѣляется качественный характеръ душевныхъ переживаній. И такъ же, какъ топоръ дровосѣка останавливается на неподвижномъ деревѣ, такъ и интуиція, которая захотѣла

бы исчерпать сущность этого переживания, натолкнулась бы на ту же неподвижность.

Мнимыя неподвижности играют свою роль не хуже, чѣмъ могли бы это сдѣлать дѣйствительныя; тѣмъ самымъ онѣ входятъ въ реальный міръ. Жизнь, слѣдовательно, нельзя понять, какъ сплошное, свободное движеніе; этимъ движеніемъ, наоборотъ, управляютъ плотины и загражденія. И пережить движеніе потока полно—значитъ пережить и то мгновеніе, когда потокъ яростно ударяется о плотину. Не только среди неподвижныхъ предметовъ идетъ этотъ потокъ, но и среди неподвижныхъ цѣнностей. Это есть общественныя связи. Попробуйте понять исторію безъ связующихъ цѣнностей, она превратится въ хронологию. Нѣтъ цѣнностей—нѣтъ права, нѣтъ общества—нѣтъ исторіи.

Жизнь либо дѣйствуетъ на неподвижности, либо хранить воспоминаніе о нихъ. Въ своемъ прошломъ, въ своемъ будущемъ и тѣмъ самымъ въ своемъ настоящемъ душевная жизнь опредѣляется неподвижностями. И какъ глубоко ни проникла бы интуиція, ея сущность предопредѣлена этимъ.

Бергсонъ даетъ примѣръ интуиціи.

„Всякій, кто, напримѣръ, работалъ надъ литературнымъ трудомъ, знаетъ, что послѣ того, какъ сюжетъ изученъ, и всѣ документы собраны, для того, чтобы приступить къ самому сочиненію, необходимо сдѣлать нѣчто большее, нѣкоторое усиліе, иногда очень тяжелое; нужно проникнуть сразу въ самую сущность темы и въ глубинѣ ея стремиться найти тотъ импульсъ, которому потомъ уже можно будетъ покорно слѣдовать“.

Бергсонъ утверждаетъ, что интуиція есть чистое движеніе, есть переживаніе импульса; это не такъ. Вотъ другой примѣръ. Мнѣ нужно что-то вспомнить, и долго, несмотря на мои усилія, мнѣ не удастся это; но внезапно въ моемъ воображеніи мелкнуло деревцо, и я почувствовалъ вдругъ, что вспомнилъ, хотя въ моемъ сознаніи пока еще нѣтъ ничего отчетливаго. Я какъ бы искалъ дорогу и вотъ, наконецъ, наткнулся на знакомый знакъ; теперь я могу быть спокоенъ: шагъ за шагомъ я дойду до назначенія. Въ моихъ усиліяхъ нѣтъ больше надобности: факты сами придутъ и развернутся. Въ то мгновеніе, когда мелькнуло деревцо, я сразу нашелъ нѣчто готовое, протяженное поле фактовъ, а не импульсъ, которому я еще долженъ покорно слѣдовать. Такъ же обстояло дѣло, когда мои усилія были направлены не на воспоминаніе, а на творчество. Я накопилъ множество фактовъ, образовъ, установилъ многія связи; теперь же ихъ нужно сомкнуть всѣ, но процессъ смыканія, процессъ выявленія какой-нибудь мысли происходитъ въ бессознательной области. Я употребляю свои усилія, но мнѣ не совсѣмъ видно или вовсе не видно, что изъ нихъ выходитъ и опять-таки до той минуты, когда я

вдругъ не почувствую, что нашелъ. Опять пусть мелькнетъ деревцо, за которымъ потянется полоса сомкнувшихся фактовъ. Интуиція здѣсь—обнаруженіе, выявленіе чего-то неподвижнаго.

Но что такое, вообще, импульсъ? Чистое движеніе. Данный мнѣ толчокъ. Однако, какъ представить себѣ толчокъ въ той сферѣ, гдѣ множество фактовъ и мыслей; одного импульса мало, нужны руль и вѣтрила. Импульсъ долженъ заключать въ себѣ не только порывъ къ движенію, но и какое-то знаніе того, что я найду, предвосхищеніе всѣхъ связей между фактами и мыслями, иначе само движеніе ни къ чему не приведетъ. Но это, собственно, значитъ, что мнѣ уже заранѣе дано въ несовершенномъ видѣ то поле, которое я потомъ лишь буду раскапывать, что уже въ самомъ движеніи дано нѣчто неподвижное. Безъ этого нельзя себѣ представить, какъ могъ бы импульсъ къ чему-нибудь привести. Итакъ, назначеніе интуиціи въ обнаруженіи неподвижностей, но тѣмъ самымъ интуиція теряетъ свой характеръ противоположности интеллекту. Падаетъ Бергсоновское противоположеніе интуитивнаго и интеллектуальнаго познанія. Когда въ моемъ сознаніи мелкнуло деревцо, то связь его съ послѣдующими фактами и мыслями была механическая, но можетъ быть и другая связь. Мелькающій образъ можетъ быть характеренъ для послѣдующаго и смутно заключать въ себѣ то, что потомъ развернется. Если я хотѣлъ сказать, что міръ есть зло или что міръ есть уничтоженіе,—то въ такомъ случаѣ первые явившіеся мнѣ образы могли быть образами огня или дьявола. Мало того, въ образахъ огня и дьявола были извѣстныя свойства, которыми я потомъ опредѣлялъ зло или уничтоженіе. Когда послѣдующая мысль очень осязательно предчувствуется нами въ образѣ, мы имѣемъ интуицію. И она не только не во враждѣ съ мыслями, она имъ служить, она сама развернется въ растеніе, куколка въ бабочку. Бергсонъ правъ: философія начинается съ интуиціи, но интуиція — зародышъ мыслей. Древне-греческая метафизика начала съ образовъ огня и воды и дошла до понятій, но преемственность очевидна; предчувствіе завершилось въ отчетливую формулу. Интуиція есть не переживаніе движенія, а образное обнаруженіе мыслей. И нѣтъ гарантій, что она правильна и доходитъ до абсолюта, и судьей въ этомъ дѣлѣ только разумъ.

Въ теплую лунную ночь меня проникаетъ молчаніе лѣса. Кругомъ тишина, и, подчиняясь ей, я говорю: міръ стоитъ. А движеніе моихъ мыслей и чувствъ, я знаю,—только пѣна на неподвижномъ морѣ. Я неправъ, допустимъ. Меня обманула эта моя ночная интуиція. Какъ рѣшить? Кто рѣшить? Разумъ. И нынѣ, какъ и во времена Сократа, онъ царствуетъ надъ всѣми капризами поэтовъ.

Г. Танинъ.

Балканскія противорѣчія.

Балканскій полуостровъ принесъ русскому обществу въ теченіе войны большія разочарованія, въ которыхъ, однако, оно само въ значительной степени виновато. При оцѣнкѣ событій на Балканахъ у насъ, по крайней мѣрѣ, значительная часть общества не отдавала себѣ отчета въ остротѣ антагонизма между отдѣльными балканскими государствами, въ частности, между Сербіей и Болгаріей, и къ тому же придавала чрезмѣрное значеніе династическому фактору. Поведеніе Болгаріи многими объяснялось—и до сихъ поръ еще объясняется—тѣмъ обстоятельствомъ, что она управляется принцемъ Кобургскимъ, родственникомъ Габсбурговъ и бывшимъ офицеромъ австро-венгерской армии. Точно такъ же и для образа дѣйствія Румыніи искали объясненій въ родствѣ королей Карла и Фердинанда съ Гогенцоллернами. Въ этой же области старались находить мотивы для противорѣчиваго поведенія Греціи, гдѣ король Константинъ, какъ извѣстно, женатъ на сестрѣ императора Вильгельма.

Конечно, было бы неправильно совершенно отрицать значеніе личнаго династическаго фактора. Безспорно, что извѣстную роль этотъ факторъ сыгралъ. Но въ то же время не менѣе безспорно, что эта роль рѣшающей не была и быть не могла. Достаточно быть нѣсколько знакомымъ съ Балканскимъ полуостровомъ, чтобы знать, что ни въ одномъ изъ балканскихъ государствъ положеніе чужеземной династіи не настолько прочно, чтобы она могла рискнуть вступить въ конфликтъ со страной. Напримѣръ, относительно Греціи стоитъ лишь вспомнить событія 1909—1910 гг., когда „военная лига“, во главѣ которой находился полковникъ Зорбасъ, захватила въ свои руки фактическую власть. Корона съ этимъ въ теченіе долгаго времени мирилась и подчинялась даже такимъ требованіямъ, какъ удаленіе членовъ царствующей семьи изъ армии. Съ тѣхъ поръ прошло всего нѣсколько лѣтъ, и едва ли есть основаніе думать, что за этотъ короткий промежутокъ положеніе династіи настолько упрочилось, чтобы она была въ состояніи бороться съ ясно выраженной волей страны. Правда, что положеніе „правлящихъ сферъ“ въ Греціи въ настоящее время въ томъ отноше-

ни лучше, чѣмъ оно было 5—6 лѣтъ тому назадъ, что тогда политическая жизнь страны находилась еще всецѣло подъ гнетущимъ вліяніемъ неудачной войны съ Турціей, въ то время какъ теперь самосознаніе „власти“ значительно окрѣпло вслѣдствіе обѣихъ балканскихъ войнъ, почти удвоившихъ территорію Греціи. Однако, и удачныя войны не могли, конечно, произвести сразу такой радикальной перемѣны въ отношеніяхъ между династіей и населеніемъ, и если король Константинъ проводитъ политику, благопріятную центральнымъ имперіямъ, то онъ въ состояніи это сдѣлать не потому, что такая политика соответствуетъ интересамъ его родственника, Вильгельма II, а потому, что у него есть возможность опираться на извѣстное теченіе въ странѣ, не довѣряющее успѣхамъ четверного согласія. Не надо упускать изъ виду еще и того, что король Константинъ вѣдь находится въ родствѣ не только съ царствующей въ Германіи династіей, но и съ другими династіями. Почему же рѣшающее значеніе должны имѣть всетаки только личныя связи съ Берлиномъ? Очевидно, что искать объясненія для поведенія Греціи, главнымъ образомъ, въ родственныхъ связяхъ ея короля, значитъ исходить изъ предвзятой точки зрѣнія и закрывать глаза на всю сложность причинъ, опредѣляющихъ поведеніе балканскихъ государствъ въ мировую войну.

То же самое можно сказать и относительно Румыніи и Болгаріи. Фердинандъ болгарскій не можетъ не помнить исторіи своего предшественника, Александра Баттенбергскаго, а Фердинанду румынскому тоже, надо полагать, извѣстно, что его дядя и предшественникъ, король Карль, былъ чуть ли не единственнымъ изъ всѣхъ балканскихъ князей, царствование котораго закончилось естественной смертью, и что онъ, такимъ образомъ, составилъ исключеніе изъ правила, что на Балканахъ князья либо изгоняются, либо падаютъ отъ руки убійцы. При такомъ положеніи весьма неправильно проводить рѣзкую грань между политикой, соответствующей волѣ народовъ на Балканахъ, и политикой ихъ правителей. На Балканахъ послѣдніе могутъ слѣдовать своимъ симпатіямъ лишь постольку, поскольку ихъ при этомъ поддерживаетъ соответствующее теченіе въ странѣ. Не будь въ Болгаріи македонскаго вопроса, а въ Греціи страха передъ империалистскими планами Итали въ Эгейскомъ морѣ и Малой Ази, царь Фердинандъ болгарскій не былъ бы въ состояніи привлечь Болгарію на сторону средне-европейскихъ имперій, а король Константинъ не могъ бы рѣшиться дать отставку Венизелосу. Къ балканскимъ народамъ,—какъ, можетъ быть, и къ другимъ,—въ этомъ смыслѣ, вполнѣ примѣнимъ афоризмъ, что всякій народъ заслуживаетъ правительства, которому онъ подчиняется.

Если представленіе о рѣшающемъ значеніи династическаго фактора искажало весьма существенно перспективу на Балканахъ, то еще больше

затемняла истинное положеніе дѣль идея общности славянскихъ интересовъ въ нынѣшней войнѣ. Загипнотизированные историческими воспоминаніями о роли Россіи, какъ освободительницы Болгаріи, многие у насъ не допускали возможности присоединенія Болгаріи къ врагамъ Россіи и въ то же время считали невѣроятнымъ, что Болгарія обрушится на Сербію въ тотъ моментъ, когда Сербія дѣлаеть воистину сверхчеловѣческія усилія для сохраненія своей государственной независимости. Совершенно упускалось изъ виду, что Болгарія изъ исторіи помнитъ только 1913 годъ и несправедливость, учиненную надъ нею въ Бухарестскомъ мирномъ договорѣ. Если-бъ былъ правильно учтенъ урокъ 1913 г. и условія, сдѣлавшія тогда войну между Болгаріей и ея бывшими союзницами возможной и даже неизбежной, тогда было бы ясно, что Болгарія постарается использовать представившійся случай въ своихъ интересахъ, и не могло бы даже возникнуть и предположеніе, что Болгарія откажется отъ своихъ національныхъ требованій по соображеніямъ благородства и во имя якобы общихъ у нея съ Сербіей славянскихъ интересовъ.

Характерной чертой процесса освобожденія балканскихъ христіанскихъ народовъ является то, что борьба съ турками у нихъ сопровождалась не менѣе ожесточенной борьбой между собой.

Извѣстно, что греки лишь съ большимъ трудомъ отказывались отъ своей „великой идеи“, согласно которой на развалинахъ Турецкой имперіи должна была возникнуть новая Греческая имперія, включающая всѣхъ христіанъ Турціи. Грекамъ долго не хотѣлось отвыкнуть отъ того состоянія, когда въ Турціи всякій христіанинъ считался грекомъ. Еще въ началѣ XIX вѣка отождествленіе христіанъ съ греками въ Турціи доходило до того, что въ Сиріи православныхъ арабовъ называли греками. Въ этомъ отношеніи очень поучительно, что однимъ изъ пунктовъ, изъ которыхъ исходило возстаніе грековъ въ Турціи, была Молдавія, гдѣ въ мартѣ 1821 г. Александръ Ипсиланти поднялъ возстаніе во главѣ небольшого отряда. Очевидно, что греки смотрѣли на сплошь населенную румынами Молдавію, какъ на свою страну, въ сочувствіи и содѣйствіи которой нечего сомнѣваться, разъ они именно въ ней начали свою борьбу за независимость. А между тѣмъ, румыны въ дѣйствительности считаютъ худшимъ періодомъ своей исторіи какъ разъ тотъ, въ теченіе котораго страна управлялась греками-фанаріотами, т.-е. XVIII вѣкъ и начало XIX. Греки не придавали значенія тому, что среди христіанъ Турціи были сплошныя массы славянъ и румынъ, значительно превосходившія ихъ количествомъ. Для господства надъ ними имъ казалось достаточнымъ того культурнаго превосходства, которое до сравнительно недавняго времени было на ихъ сторонѣ. Они знали, что греческая культура покорила себѣ въ теченіе вѣковъ множество народовъ,

гораздо болѣе многочисленныхъ, чѣмъ греки, и, считая себя прямыми продолжателями древнихъ эллиновъ, они еще въ XIX вѣкѣ ожидали такой ассимиляціи греками остальныхъ христіанъ. Въ 1822 г. собраніе въ Трезенѣ (въ Пелопонесѣ) еще могло провозгласить: „всѣ жители Турціи, вѣрующе въ Иисуса Христа, входятъ въ составъ новой эллинской національности“.

Извѣстно, какую упорную борьбу пришлось вести болгарамъ съ греками, прежде чѣмъ имъ удалось получить въ Турціи собственную національную церковную организацію. Въ своемъ стремленіи навязать греческую культуру всѣмъ турецкимъ славянамъ греческій вселенскій патріархатъ въ Константинополѣ постепенно упразднилъ остатки церковной самостоятельности славянъ: въ 1766 г. было упразднено сербское архіепископство въ Ипекѣ (Печи), а въ 1767 г. болгарская митрополичья каедрa въ Охридѣ, болгарскія книги и рукописи сжигались, и на болгаръ одинаковой тяжестью ложились политическій и соціальныи гнетъ турокъ и церковный и интеллектуальный гнетъ грековъ. Съ большимъ трудомъ послѣ продолжительной борьбы съ греками въ Константинополѣ болгарамъ удалось добиться фирмана султана въ 1870 г. объ отдѣленіи болгарской церкви отъ константинопольскаго патріархата, послѣ чего греческій церковный соборъ въ Константинополѣ объявилъ новую болгарскую національную церковь „схизматической и чуждой православной церкви Христовой“. Турки до извѣстной степени поощряли стремленіе болгаръ къ независимости отъ грековъ, такъ какъ они считали болгаръ болѣе лояльными, чѣмъ грековъ, и въ каждомъ расколѣ среди христіанъ видѣли благоприятное для себя обстоятельство, задерживающее процессъ политическаго освобожденія подвластныхъ имъ христіанъ.

Отношенія между греками и славянами приняли уже тогда такой враждебный характеръ, что въ 1875 г., напримѣръ, многіе греки служили въ турецкихъ рядахъ при подавленіи попытокъ возстанія славянъ. Въ Болгаріи многія греческія общины предложили добровольно турецкому правительству ставить рекрутъ для борьбы съ болгарами; въ Филиппополѣ, Люле-Бургасѣ и т. д. греческіе добровольцы присоединились къ иррегулярнымъ отрядамъ, образованнымъ изъ черкесовъ и башибузуковъ. На островѣ Корфу греки конфисковали оружіе, предназначенное для Черногоріи. ¹⁾

Споръ между болгарами и греками касался прежде всего Фракіи и Македоніи. Въ 1870 г., въ моментъ учрежденія болгарскаго экзархата, Любенъ Каравеловъ точно формулируетъ сущность спора между обѣими національностями изъ-за этой области. „Греки,—пишетъ онъ,—не за-

¹⁾ Ed. Engelhardt. La confédération balkanique въ *Revue d'histoire diplomatique*. т. VI, 1892, стр. 45.

даютъ себѣ вопроса, кто собственно населяетъ Македонію; они говорятъ, что эта страна нѣкогда принадлежала грекамъ и что она на этомъ основаніи должна снова перейти въ ихъ владѣніе... Но мы теперь живемъ въ XIX вѣкѣ, когда историческія и каноническія права потеряли всякое значеніе. Каждый народъ, какъ и каждая личность, долженъ быть свободнымъ, и всякая нація имѣетъ право жить самостоятельно. Эракія и Македонія поэтому должны быть болгарскими, такъ какъ они населены болгарами". 1)

Но если антагонизмъ между болгарами и греками уже въ то время былъ въ полномъ разгарѣ, то отношенія между болгарами и сербами еще отнюдь не предвѣщали такого оборота. Въ сербской и болгарской молодежи того времени (1860—70 гг.), наоборотъ, преобладало стремленіе соединить судьбы обоихъ народовъ, такъ какъ ихъ интересы представлялись имъ вполне совпадающими. Это сознаніе полной солидарности сербовъ и болгаръ выразилось особенно рельефно въ договорѣ, заключенномъ въ январѣ 1867 г. между представителями сербскаго правительства и „болгарскаго комитета“ въ Бухарестѣ, который являлся центромъ борьбы за освобожденіе Болгаріи. Въ этомъ договорѣ 2) говорится, что „народы Сербіи и Болгаріи, принадлежаще къ славянской расѣ, объединенные узами крови и религіи, призваны Провидѣніемъ жить отнынѣ подъ однимъ правительствомъ и однимъ флагомъ. А такъ какъ они образуютъ одно цѣлое, одушевлены одними и тѣми же чувствами и стремленіями и могутъ достигнуть своей цѣли только посредствомъ сліянія, оба братскіе народа должны въ будущемъ носить имя сербо-болгаръ или болгаро-сербовъ, а ихъ общая родина должна называться Сербо-Болгаріей или Болгаро-Сербіей. Его высочество князь Михаилъ Обреновичъ (тогдашній князь Сербіи) объявляется верховнымъ вождемъ сербо-болгарской націи и главнокомандующимъ ея арміи. Національный флагъ долженъ состоять изъ сочетанія цвѣтовъ Болгаріи и Сербіи“. А въ маѣ того же года въ воззваніи болгарскихъ представителей Софіи, Филиппополя, Тырнова и Монастыря высказывается рѣшительный протестъ противъ заподозриваній Сербіи въ стремленіи подчинить себѣ Болгарію. „У насъ,—сказано въ воззваніи,—есть люди, которые стремятся вызвать подозрѣніе противъ сербовъ и утверждаютъ, что сербы намъ не желаютъ добра. Это неправда. Невѣроятно, чтобы братъ желалъ зла своему же единокровному и единовѣрному брату... Мы думаемъ, что Сербія единственная страна и князь Михаилъ единственный человѣкъ, съ которыми мы можемъ прийти къ соглашенію...

1) „Dotation Carnegie pour la paix internationale, enquête dans les Balkans“. Paris, 1914, стр. 5.

2) Цитируемъ по *Mil. R. Ivanowitch. The future of the Balkans* въ *Fortnightly Review*. 1909, стр. 1047.

Мы теперь ничего не можемъ сдѣлать безъ содѣйствія Сербіи, точно такъ же бессильна Сербія и безъ насъ... Соединимся съ преемникомъ Милоша, онъ будетъ освободителемъ болгарскаго народа“. ¹⁾

Въ то время въ Сербіи вообще преобладало сознание солидарности съ остальными балканскими народностями, причемъ однако интересы послѣднихъ отождествлялись съ интересами Сербіи и дѣлалось предположеніе, что остальные балканскіе славяне, т.-е. прежде всего болгары, согласны на господство Сербіи надъ ними. Еще въ 1844 г. одинъ изъ наиболѣе выдающихся сербскихъ государственныхъ людей, Илья Гарашанинъ, доказывалъ необходимость объединенія балканскихъ народовъ. „Сербія,—писалъ онъ,—теперь такъ мала, что она можетъ разсчитывать на будущность только при соглашеніи съ народностями, которыя ее окружаютъ. Въ ея нынѣшнихъ границахъ ея существованіе не обезпечено, и она поэтому должна укрѣпить узы, которыя соединяютъ ее съ родственными народами. Если имъ не удастся разрѣшить эту задачу, внѣшнія силы будутъ швырять ее, какъ утлый челнокъ, до тѣхъ поръ, пока она не разобьется о скалы“. Гарашанинъ далѣе говоритъ, что существованіе Турецкой имперіи въ Европѣ можетъ закончиться либо раздѣломъ ея между европейскими державами, т.-е. между Австріей и Россіей, либо же созданіемъ новаго христіанскаго государства на мѣстѣ европейской Турціи. Россія и Австрія послѣдняго разрѣшенія вопроса желать не могутъ, такъ какъ новое сильное христіанское государство на Балканахъ будетъ стоять на пути Россіи къ Константинополю, а Австріи, въ случаѣ образованія такого государства, грозила бы опасность потери ея южно-славянскихъ областей. Но другія державы, въ особенности Франція и Англія, наоборотъ, будутъ поддерживать такое государство, такъ какъ оно будетъ способствовать сохраненію равновѣсія силъ въ Европѣ. „Такимъ государствомъ,—продолжаетъ онъ,—можетъ быть только Сербія, такъ какъ и въ средніе вѣка Сербія стала бы преемницей Византійской имперіи, если бы турки не разрушили ея. Сербія, слѣдовательно, только возродила бы старое государство своихъ предковъ. Въ нашемъ стремленіи образованіи такое государство Европа могла бы только видѣть возрожденіе прежняго сербскаго государства на началахъ историческихъ правъ и правъ народовъ. Новая Сербія содѣйствовала бы сохраненію равновѣсія силъ между Россіей и Австріей... Первымъ основнымъ принципомъ ея политики была бы полная религіозная свобода и терпимость... Въ виду трудности вести торговые сношенія съ Европой черезъ Землинъ, Сербія должна будетъ сдѣлать все, что въ ея силахъ, чтобы открыть себѣ другой коммерческій путь черезъ море, а это должно привести насъ къ Дульциньо и Скутари въ Албаніи“. ²⁾

¹⁾ Engelhardt, I. c., стр. 50.

²⁾ Ivanowitch, I. c., стр. 1044—1045.

Такимъ образомъ, мы видимъ у Гарашанина формулировку идеи возсозданія Сербіи Стефана Душана, т.-е. такой же „великой идеи“, какую лелѣли греки, мечтавшіе о возсозданіи Византіи. Говоря о необходимости соглашенія съ окружающими Сербію народами, онъ въ то же время убѣжденъ, что имъ государственная самостоятельность не нужна и что Болгарія можетъ стать частью возрожденной Сербіи. И когда въ 1868 г. былъ заключенъ договоръ между Михаиломъ Обреновичемъ и Румыніей, который вызвалъ такое недовольство въ Турціи, оба государства слѣдующимъ образомъ устанавливають свои границы на случай, „если Провидѣнію угодно будетъ благословить ихъ усилія и имъ будетъ дана возможность свободно располагать территориями, которыя будутъ отняты у турокъ“. Румынія тогда должна получить „острова, образующіе дельту Дуная и восточную часть Болгаріи, находящуюся между Русукомъ и Варной, съ одной стороны, и Чернымъ моремъ— съ другой. Сербія же должна была получить Старую Сербію, Боснію, Герцеговину и Болгарію, за исключеніемъ части послѣдней, которая должна отойти къ Румыніи“. ¹⁾

Согласно ст. 9 договора, договаривающіяся стороны, усматривая въ союзѣ христіанскихъ народовъ Турціи возможность разрѣшенія въ пользу послѣднихъ восточнаго вопроса, обязались добиться присоединенія Греціи и Черногоріи. Повидимому, дѣйствительно, были сдѣланы попытки привлечь ихъ къ соглашенію. Весной 1868 г. въ Афины былъ посланъ сербскій полковникъ съ военно-политическимъ порученіемъ. Онъ провелъ въ Греціи нѣсколько недѣль. Съ своей стороны и Греція командировала въ Бѣлградъ высшаго военнаго съ такимъ же порученіемъ. За этими первыми агентами послѣдовали другіе, посѣщавшіе Бѣлградъ и Бухарестъ. Въ результатъ въ широкихъ кругахъ распространилось мнѣніе, что между Сербіей и Греціей заключенъ оборонительный и наступательный союзъ противъ Турціи. Переговоры велись также и съ Черногоріей. Какъ извѣстно, князь Михайлъ былъ въ 1868 г. убитъ, и изъ его плановъ балканской лиги ничего не вышло. Но, несомнѣнно, любопытно въ его союзномъ договорѣ съ Румыніей то, что онъ считаетъ возможнымъ говорить просто объ инкорпорированіи Болгаріи въ Сербію.

Вскорѣ, однако, стали ухудшаться и отношенія между болгарами и сербами, и отождествленіе сербовъ и болгаръ, примѣры котораго мы выше приводили, становится уже невозможнымъ. Рѣшительность, съ которой Болгарія отстаиваетъ и развиваетъ свою самостоятельность, не позволяеть уже сербамъ мечтать объ образованіи единаго сербо-болгарскаго государства. Прежде всего это ухудшеніе явилось результа-

¹⁾ Engelhardt, I. с., стр. 33.

томъ энергической національной болгарской пропаганды, которой дало такой толчокъ учрежденіе болгарской экзархіи. Болгары пытались распространить свою экзархистскую церковь также на Старую Сербію, Боснію и Герцеговину. Это вызвало рѣшительные протесты со стороны сербовъ, которые видѣли въ такихъ попыткахъ болгаръ повтореніе того же метода, который примѣнялся греками по отношенію къ болгарамъ. Въ областяхъ безспорно сербскихъ, какъ, на примѣръ, Боснія, стремленіе подчинить населеніе власти болгарскихъ епископовъ могло себѣ найти такъ же мало оправданія, какъ ссылки грековъ на ихъ историческія права на Македонію. Если, говорили сербы, относительно Македоніи возможны споры, является ли населеніе сербскимъ или болгарскимъ, то относительно Босніи или Старой Сербіи никакихъ споровъ быть не можетъ. Сербы и румыны, также выступивше съ притязаніями на Македонію, поэтому стали добиваться признанія Турціей правъ ихъ церквей въ Македоніи, именно учрежденія румынскаго епископства въ Монастырѣ и сербскаго—въ Ипекѣ, но только румынамъ удалось получить пріаде (23 мая 1905 г.) о признаніи правъ румынской церкви въ Македоніи, старанія же сербовъ успѣхомъ не увѣнчались.

Особенно плохи стали сербо-болгарскія отношенія послѣ Берлинскаго конгресса. Приобрѣтенія Сербіи какъ по Санъ-стефанскому, такъ и по Берлинскому договору не находились въ соотвѣтствіи ни съ жертвами, принесенными Сербіей, ни съ ея мечтамъ. Начиная борьбу съ Турціей, Сербія все еще питала надежды, что ей удастся стать господствующей надъ всѣми балканскими славянами, ожидала наступленія дня, когда „ни рѣки, ни горы не будутъ раздѣлять сербовъ, словенцевъ, кроатовъ и болгаръ“, какъ выразился ректоръ загребскаго университета въ 1878 г., ¹⁾ т.-е. когда Сербія будетъ находиться во главѣ освобожденныхъ балканскихъ славянъ. Между тѣмъ, приращеніе территории Сербіи (округа Нишъ, Пиротъ и Лесковацъ) было весьма невелико, и еще гораздо хуже было то, что Боснія и Герцеговина, присоединенія которыхъ Сербія такъ жаждала, достались Австріи; причемъ сербамъ уже тогда стало извѣстно, что Россія еще передъ войной согласилась на занятіе Австріей Босніи и Герцеговины. ²⁾ Сербія, конечно, понимала, что Австро-Венгрія уже не отдастъ занятыхъ областей, слѣдовательно, о расширеніи своего политическаго господства на нихъ она уже не могла надѣяться, пока Австро-Венгрія не будетъ разрушена. У нея, такимъ образомъ, осталась только одна возможность расширяться на югъ и юго-востокъ, т.-е. въ Македоніи, гдѣ она неми-

¹⁾ Цитируемъ по *M. Choublier. La question d'orient depuis le traité de Berlin. Paris, 1897, стр. 58.*

²⁾ *VI. Georgewitsch. La Serbie au congrès de Berlin, въ Revue d'histoire diplomatique, 1871, стр. 483—552.*

нуемо должна была столкнуться съ Болгаріей. Несмотря на то, что сербы раньше сами признавали права Болгаріи на Македонію, послѣ Берлинскаго конгресса соперничество между ними въ Македоніи все обостряется и уже не прекращается. Австро-Венгрія очень поощряла Сербію въ этомъ направленіи. По заключенному въ 1881 г. секретному договору съ Сербіей Австро-Венгрія категорически заявляетъ (§ 7), что она „не будетъ оказывать сопротивленія и даже будетъ поддерживать Сербію противъ другихъ державъ въ случаѣ, если ей представится возможность расшириться за южную свою границу, лишь бы это не касалось Новобазарскаго санджака“.

Отношенія между Сербіей и Болгаріей настолько обостряются, что Сербія объявляетъ Болгаріи войну послѣ того, какъ въ сентябрѣ 1885 г. состоялось объединеніе Восточной Румелии съ Болгаріей. Такое увеличеніе Болгаріи Сербія признавала для себя невыгоднымъ и, якобы въ защиту нарушеннаго Берлинскаго трактата, обрушилась на Болгарію въ надеждѣ легко съ ней справиться, такъ какъ болгарскія войска были сосредоточены на турецкой границѣ въ виду ожиданія, что Турція съ оружіемъ въ рукахъ попытается вернуть себѣ Восточную Румелию. Неожиданно для всѣхъ, и прежде всего для Сербіи, сербскія войска были разбиты болгарами при Сливницѣ, и лишь благодаря вмѣшательству Австріи болгарскія войска не двинулись дальше въ Сербію. Какъ извѣстно, миръ между ними былъ заключенъ въ Бухарестѣ въ мартѣ 1886 г. на основаніи status quo ante. Австрія, роль которой въ возникновеніи этой первой сербо-болгарской войны несомнѣнна, продолжала натравливать сербовъ на болгаръ и въ 1889 г., возобновляя вышеупомянутый договоръ 1881 г., Австрія выражается еще откровеннѣе и обѣщаетъ „содѣйствовать расширенію Сербіи въ направленіи долины Вардара“.¹⁾ Она продолжала вести политику разъединенія обоихъ народовъ, и когда въ концѣ 1905 года стало извѣстно, что Болгарія и Сербія въ принципѣ согласились заключить таможенный союзъ, Австрія заявила Сербіи, что въ случаѣ осуществленія этого проекта она не возобновитъ торговаго договора съ Сербіей и закроетъ свои границы для сербскаго вывоза.

Съ восьмидесятихъ годовъ прошлаго вѣка борьба между четырьмя національностями въ Македоніи: греками, болгарами, сербами и румынами, вступаетъ въ такую острую стадію, что попытки объединенія ихъ становятся все болѣе и болѣе рѣдкими въ виду малой вѣроятности ихъ осуществленія. Такъ, на примѣръ, ни къ чему не привела въ 1891 г. попытка греческаго государственнаго чловѣка, Трикуписа, предлагавшаго въ Бѣлградѣ и Софіи образованіе лиги балканскихъ государствъ

¹⁾ *Enquête dans les Balkans* (Dotation Carnegie), стр. 7.

для раздѣла между ними европейской Турціи по заранѣе точно составленному плану будущихъ границъ. Стамбуловъ на это предложеніе не согласился и довелъ до свѣдѣнія Турціи о происходившихъ переговорахъ. Въ 1897 г. Дельянисъ, во время греко-турецкой войны, повторилъ предложеніе Трикуписа въ надеждѣ привлечь Болгарію на сторону Греціи. Болгарія, однако, снова уклонилась, считая, что предлагавшійся греками планъ раздѣла Македоніи не соотвѣтствуетъ болгарскимъ интересамъ. Болгары предпочли вмѣсто присоединенія къ Греціи добиваться отъ Турціи новыхъ уступокъ для своей церкви и своихъ школъ въ Македоніи. Неудача Греціи въ этой войнѣ болгаръ ни въ малѣйшей степени не огорчала. Они по отношенію къ грекамъ придерживались недвусмысленной политики и еще въ 1889 году, во время возстанія на Критѣ, Болгарія увѣряла Турцію, что будетъ занимать по отношенію къ ней дружелюбное положеніе, при условіи, что никакія уступки не будутъ сдѣланы Греціи ни на Критѣ, ни въ Македоніи.

Такимъ образомъ, въ Македоніи происходила ожесточенная свалка трехъ или—такъ какъ нужно считать и румынъ—четырехъ народовъ, изъ которыхъ каждый имѣлъ свою „великую идею“: Великую Грецію, Великую Сербію, Великую Болгарію и Великую Румынію. Всѣмъ извѣстно, что въ Македоніи борьба между этими народами носила гораздо болѣе ожесточенный характеръ, чѣмъ борьба ихъ съ турками. Въ первое десятилѣтіе текущаго столѣтія число убійствъ на національной почвѣ въ Македоніи составляло въ среднемъ 2,000 въ годъ. Турецкій генераль-губернаторъ Македоніи Хильми-Паша въ виду такого положенія говорилъ, что роль турокъ въ Македоніи сводится къ обязанностямъ смотрителя въ домѣ умалишенныхъ, такъ какъ безъ турокъ они бы истребили другъ друга. Къ услугамъ этой обостренной борьбы балканскихъ національностей появилась и большая специальная, якобы научная, статистическая и лингвистическая литература. Сербы, раньше сами признававшіе Македонію страной преимущественно болгарской, выступили, какъ, напримѣръ, Гобчевичъ, съ такими статистическими данными, по которымъ въ Македоніи болгаръ не болѣе 57,600, а сербовъ 2.048,320. Не остались въ долгу и болгары, и по даннымъ, напримѣръ, болгарина Канчева, въ Македоніи сербовъ ровно 700 человекъ, а болгаръ—1.184,036.

Объективнымъ изслѣдователямъ вопроса ясно, что по существу въ этомъ спорѣ болгары были правы и что македонцы къ нимъ во всякомъ случаѣ ближе, чѣмъ къ сербамъ. ¹⁾ Тотъ фактъ, что большинство эмигрантовъ изъ Македоніи при турецкомъ владычествѣ напра-

¹⁾ Какъ на одну изъ послѣднихъ работъ по этому вопросу указываемъ на книгу Н. С. Державина. Болгаро-сербскія взаимоотношенія и македонскій вопросъ. Петроградъ, 1914 г.

влялось въ Болгарію, а не въ Сербію, и что во время войны балканскаго союза съ Турціей македонскіе добровольцы въ подавляющемъ большинствѣ шли въ болгарскую армію, а не въ другую, лучше всякихъ лингвистическихъ и историко-этнографическихъ изслѣдованій доказываетъ, въ какую сторону тяготѣетъ населеніе Македоніи. Но сербамъ, которымъ только черезъ Македонію представлялась возможность приобрести выходъ къ морю вслѣдствіе занятія Австріей Босніи и Герцеговины, было не до научной объективности. Они ринулись на борьбу съ Болгаріей, какъ по линіи наименьшаго сопротивленія.

Какимъ способомъ велась въ Македоніи національная „пропаганда“, мы уже видѣли изъ вышеприведенныхъ цифръ объ убійствахъ. Для дальнѣйшей иллюстраціи способовъ воздѣйствія мы прибавимъ лишь слѣдующій отрывокъ изъ наблюденій русскаго офицера, П. А. Риттиха, объѣзжавшаго въ 1901 г. Македонію. Проѣзжая по Ускюбскому вилайету, онъ записываетъ слѣдующее: „Встрѣчныхъ сельковъ мы окрикивали, такъ какъ они, замѣчая экипажъ, сворачивали въ сторону, съ явнымъ желаніемъ скрыться отъ насъ. Приходилось оглядывать ихъ, шутить съ ними, чтобы нѣсколько успокоить этихъ трусливыхъ зайцевъ, и только затѣмъ они отвѣчали на задаваемые вопросы. Лица ихъ были блѣдны, глаза разбѣгались въ стороны, и по рукамъ было видно, что они дрожатъ, какъ въ лихорадкѣ. На вопросы: „Сербы ли они“, сельки робко отвѣчали: „Сербы“. „А, може, болгары“, продолжалъ тотъ же, и тѣ отвѣчали: „Болгары“... Всѣ отвѣты сопровождались безчисленными поклонами, и выраженіе лицъ было настолько страдальческое, что можно было подумать, что нашими вопросами мы имъ причиняемъ жестокую боль и мученіе. Пытаясь разговаривать съ ними дольше, мы ничего не могли добиться, они повторяли наши слова и, какъ дикіе звѣрки, косились въ сторону“. ¹⁾ Само собою разумѣется, что статистическія данныя, добытыя заинтересованными сторонами у населенія, подвергавшагося такой обработкѣ, имѣютъ лишь весьма проблематическое значеніе.

Въ виду такихъ отношеній между національностями въ Македоніи не было ничего удивительнаго въ томъ, что когда всетаки удалось подъ впечатлѣніемъ нападенія Италіи на Турцію образовать союзъ балканскихъ государствъ, онъ подъ конецъ испытанія не выдержалъ. Освободительная война балканскихъ государствъ противъ Турціи смѣнилась безпощадной войной между участниками балканскаго союза, причѣмъ истребляли другъ друга не только арміи, но и мирное населеніе различныхъ національностей Македоніи. Во время балканскихъ войнъ 1912—13 гг. много говорилось о „балканскихъ звѣрствахъ“.

¹⁾ Цитируемъ по А. Л. Полюдину: *Славянскій міръ*. Москва, 1914 г., стр. 416.

Представители каждой балканской національности, замалчивая собственные грѣхи, говорили лишь о насиліяхъ и безчинствахъ, совершавшихся другими. Этотъ вопросъ можетъ теперь считаться выясненнымъ. Разслѣдованіе событій на Балканахъ въ теченіе обѣихъ войнъ, предпринятое по порученію Фонда Карнеги („Dotation Carnegie pour la paix internationale“), результаты котораго были изложены въ объемистомъ томѣ,¹⁾ заставляеть прийти къ заключенію, что неправильно говорить о большей или меньшей винѣ той или другой національности: всѣ онѣ приблизительно въ одинаковой мѣрѣ нарушали всѣ законы божескіе и человѣческіе.

Можно ли было при такомъ положеніи дѣлъ ожидать отъ балканскихъ государствъ въ нынѣшнемъ мировомъ конфликтѣ иной политики, чѣмъ политика узкаго—и къ тому же всегда близорукаго—„національнаго эгоизма“. Въ нашемъ бѣгломъ очеркѣ взаимоотношеній балканскихъ народовъ мы видѣли, что они совсѣмъ еще не научились признавать себя членами болѣе широкаго, охватывающаго ихъ всѣхъ, цѣлаго. До сихъ поръ они умѣли вести только „реальную“ въ самомъ грубомъ смыслѣ этого слова политику, т.-е. считаться только съ силой и съ возможностью использовать условія момента для удовлетворенія своихъ стремленій, не обращая вниманія на справедливыя требованія своихъ сосѣдей. Можетъ быть, что когда-нибудь взаимоотношенія этихъ народовъ измѣнятся, и они научатся уважать чужія права, но пока они еще не вышли изъ стади національнаго максимализма, отвергающаго компромиссы, какъ бы разумны они ни были.

Если-бъ это было ясно русскому обществу съ самаго начала войны, событія на Балканахъ не оказались бы для него рядомъ непонятныхъ неожиданностей. Еще хуже этой недостаточной освѣдомленности общества то, что и дипломатія четверного согласія, повидимому, неправильно оцѣнивала остроту національныхъ антагонизмовъ на Балканахъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, приходится думать до обнародованія дипломатической переписки заинтересованныхъ державъ съ балканскими государствами, которая, быть можетъ, докажетъ, что высказывающіеся по адресу дипломатіи упреки неосновательны.

И. О. Левинъ.

¹⁾ „Enquête dans les Balkans, rapport présenté aux directeurs de la dotation par les membres de la commission d'enquête“. Paris, 1914, 496 страницъ.